

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> приятного чтения!

Бергсон Анри

МАТЕРИЯ И ПАМЯТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Отправной точкой нашей работы было исследование, которое читатель найдет в третьей главе этой книги. В этой главе на наглядном примере воспоминания мы показываем, что один и тот же духовный феномен одновременно затрагивает несколько уровней сознания, каждый из которых представляет собой одну из промежуточных ступеней между отвлеченным созерцанием и действием; на самом последнем из этих уровней, и только на нем одном, проявляется действие тела.

Но такое понимание роли тела в нашей духовной жизни наталкивается, как оказалось, на многочисленные трудности отчасти научного, отчасти метафизического порядка. Рассмотрение этих трудностей и составило остальную часть книги.

В самом деле, с одной стороны, нам пришлось спорить с теориями, которые видят в памяти лишь функцию мозга, и с этой целью самым детальным образом разобрать некоторые весьма специальные факты, касающиеся церебральной локализации, что отчасти составляет предмет второй главы. С другой же стороны, мы не смогли бы установить такого резкого разделения между психической деятельностью и ее материальным выражением, не встретившись с разного рода на редкость настойчивыми возражениями, которые вызывает против себя всякий дуализм. Мы были вынуждены, таким образом, подвергнуть углубленному изучению и проверке идею тела, сопоставить реалистическую и идеалистическую теории материи, извлечь из них их общие постулаты и, наконец, посмотреть, нельзя ли, отвлекшись от всех и всяких постулатов, наметить более ясно различие между телом и духом и в то же время глубже проникнуть в механизм их соединения. Так, шаг за шагом наше исследование подвело нас к наиболее общим вопросам метафизики.

Для того же, чтобы разобраться в этих метафизических трудностях, в качестве путеводной нити мы взяли ту самую психологию, которая вовлекла нас в самую их гущу. Если действительно справедливо, что наш интеллект неуклонно стремится материализовать свои понятия и воплотить в действие свои мечты, можно предположить, что привычки, приобретенные таким образом в практической деятельности, распространяясь и на умозрение, будут в самом его источнике разрушать то непосредственное знание, которое мы имеем о нашем духе, о нашем теле и об их взаимном влиянии. Быть может, многие метафизические трудности зарождаются, следовательно, из-за того, что мы смешиваем умозрения и практику, или же из-за того, что, думая теоретически углубить какую-либо идею, мы в действительности направляем ее в сторону практической пользы, или же, наконец, вследствие того, что на наше мышление накладываются формы действия. Тщательно разграничивая действие и познание, мы сможем прояснить многие неясности, так что некоторые проблемы будут разрешены, а некоторые просто уже не будут иметь места.

Таков был метод, который мы уже применили в проблеме сознания, когда пытались освободить нашу внутреннюю жизнь от покрывающих

160

Отношение между духом и материей

ее практических символов, чтобы уловить ее в ее ускользающей самобытности.

Этим же самым методом в расширенном виде мы хотели воспользоваться и здесь, чтобы на этот раз с его помощью проникнуть уже не просто в глубины духа, но в точку соприкосновения духа и материи» философия, понимаемая таким образом, есть не что иное, как сознательное и обдуманное возвращение к данным интуиции. Она должна привести нас посредством анализа фактов и сопоставления доктрин к тем же выводам, что и голос здравого смысла.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга утверждает реальность духа, реальность материи, и в ней делается попытка определить отношение между первым и вторым на ясном примере – примере памяти. Книга, следовательно, очевидно дуалистична. Но, с другой стороны, она обрисовывает тело и дух таким образом, что появляется надежда если и не упразднить, то значительно смягчить те трудности, которые всегда возникают в связи с дуализмом и которые приводят к тому, что, внушаемый непосредственным сознанием, принимаемый здравым смыслом, он почти совершенно не в чести среди философов.

Эти трудности имеют основание, большей своей частью, в понимании материи – как реалистическом, так и идеалистическом. Предмет нашей первой главы состоит в доказательстве того, что и идеализм, и реализм суть одинаково крайние, избыточные положения, что ошибочно сводить материю к представлению, которое мы о ней имеем, и также неверно делать из нее вещь, производящую в нас представления, но отличную от них по своей природе. Материя для нас – это совокупность "образов". Под "образом" же мы понимаем определенный вид сущего, который есть нечто большее, чем то, что идеалист называет представлением, но меньшее, чем то, что реалист называет вещью, – вид сущего, расположенный на полпути между "вещью" и "представлением". Это понимание материи просто-напросто совпадает с пониманием ее здравым смыслом. Мы бы весьма удивили человека, чуждого философским спекуляциям, сказав ему, что предмет, находящийся перед ним, который он видит и которого касается, существует лишь в его уме и для его ума, или даже, в более общей форме, как склонен был делать это Беркли, – существует только для духа вообще. Наш собеседник всегда придерживался мнения, что предмет существует независимо от воспринимающего его сознания. Но, с другой стороны, мы так же удивили бы его, сказав, что предмет совершенно отличен от его восприятия нами, что нет ни цвета, который приписывает ему глаз, ни сопротивление, которое находит в нем рука. Этот цвет и это сопротивление, по его мнению, находятся в предмете: это не состояния нашего ума, это конститутивные элементы существования, независимого от нашего. Следовательно, для здравого смысла предмет существует в себе самом, такой же красочный и живописный, каким мы его воспринимаем: это образ, но образ, существующий сам по себе.

Именно в таком смысле мы и берем слово "образ" в первой главе. Мы

Предисловие к седьмому изданию

161

ставим себя на точку зрения ума, не знающего о дискуссиях между философами. Этот ум естественно верил бы, что материя существует такой, какой воспринимается, а поскольку он воспринимает ее как образ, считал бы ее, саму по себе, образом. Одним словом, в первой главе мы рассмотрим материю до того разделения между существованием и явлением, которое было проделано и идеализмом, и реализмом. Без сомнения, избежать этого разделения после того, как философы его осуществили, стало трудно. Однако мы все же призываем читателя к этому. Если в ходе чтения этой первой главы те или другие из наших тезисов вызовут какие-то возражения с его стороны, пусть он проверит, не порождены ли эти возражения всегда тем, что

он переместился на одну или другую из двух точек зрения, над которыми мы приглашаем его подняться.

Философия сильно продвинулась вперед, в день, когда Беркли, вопреки "mechanical philosophers", установил, что вторичные качества материи обладают по крайней мере такой же реальностью, как и первичные качества. Его ошибка была в том, что он полагал, что для этого необходимо переместить материю внутрь духа и сделать из нее чистую идею. Конечно, Декарт слишком далеко отрывал от нас материю, когда отождествлял ее с геометрической протяженностью. Однако, чтобы приблизить ее к нам, не было никакой нужды доходить до отождествления материи с нашим умом, духом как таковым. Дойдя же до этого утверждения, Беркли оказался неспособным осмыслить успехи физики и вынужден был, в то время как Декарт превращал математические отношения между феноменами в самую их сущность, считать математический строй вселенной чистой случайностью. Понадобилась кантовская критика, чтобы рационально осмыслить этот математический строй и восстановить прочный фундамент нашей физики, – чего, впрочем, критика добивается, только ограничивая область применения наших чувств и нашего разума. Кантовская критика, по крайней мере в этом моменте, не понадобилась бы, человеческий разум, по крайней мере в этом направлении, не пришел бы к ограничению области своего применения, метафизика не была бы принесена в жертву физике, если бы было принято решение оставить материю на полпути между тем местом, которое отводил ей Декарт, и тем, куда толкал Беркли, – то есть, в конечном итоге, там, где видит ее место здравый смысл. Там же пытаемся видеть ее и мы. Первая глава книги дает определение этому способу рассмотрения материи, четвертая глава извлекает из него следствия.

Но, как было сказано вначале, мы трактуем вопрос о материи лишь в той мере, в какой это связано с проблемой, затрагиваемой второй и третьей главами и составляющей предмет настоящего исследования: проблемой взаимоотношения духа и тела,

Это взаимоотношение, хотя вопрос о нем и стоял на протяжении всей истории философии, в действительности осталось крайне мало изученным. Если оставить в стороне теории, которые ограничиваются констатацией "единства души и тела" как некоего ни из чего не выводимого и необъяснимого факта, и теории, смутно говорящие о теле как каком-то философы-механицисты(англ.)

6 Зак. № 388

1620отношение между духом и материей

инструменте души, из концепций психофизиологического отношения останутся лишь "эпифеноменистская" и "параллельная" гипотезы, причем и та, и другая на практике ведут (я имею в виду интерпретацию частных фактов) к одним и тем же следствиям. В самом деле, рассматриваем ли мы мышление как простую функцию мозга и состояние сознания как эпифеномен церебрального состояния, или же считаем состояние мышления и состояние мозга двумя переводами на различные языки одного общего оригинала, – и в том, и в другом случае в принципе предполагается, что если бы мы могли проникнуть внутрь мозга, присутствовать при чехарде атомов, из которых состоит серое вещество, и если бы вдобавок мы обладали ключом к психофизиологическому отношению, мы знали бы каждую деталь происходящего при этом в сознании.

Это представление, надо сказать, наиболее единодушно разделяется как философами, так и учеными. Уместно было бы, однако же, спросить, действительно ли факты, при беспристрастном рассмотрении, наводят на такого рода гипотезу? То, что между состоянием сознания и мозгом существует согласованность, сомнения не вызывает. Но существует согласованность и между одеждой и гвоздем, на котором она висит, так как если вырвать гвоздь, одежда упадет. Будем ли мы утверждать, основываясь на этом, что форма гвоздя показывает форму одежды или каким-то образом позволяет нам ее угадать? Так же точно, исходя из факта зависимости психологического факта

от состояния мозга, нельзя делать заключение о "параллелизме" психологического и физиологического рядов. Когда философия претендует обосновать это положение о параллелизме на данных науки, она впадает в самый настоящий порочный круг: если наука интерпретирует фактическую согласованность между мозгом и сознанием в смысле параллелизма, то есть в смысле некоторой гипотезы (и гипотезы довольно мало вразумительной), то делает это, сознательно или бессознательно, из соображений философского порядка, из-за того, что в определенной философии принято считать, что нет гипотезы более правдоподобной и более согласующейся с интересами позитивной науки.

Стоит, между тем, потребовать от фактов более точных указаний для разрешения психофизиологической проблемы, и мы оказываемся перенесенными на почву вопросов памяти. Этого можно было ожидать, так как воспоминание, как мы пытаемся показать это в настоящей работе, как раз и представляет собой точку пересечения духа и материи. Но это мало что дает: никто, я думаю, не станет возражать, что в совокупности фактов, способных пролить какой-то свет на психофизиологическое отношение, факты, касающиеся памяти, идет ли речь о нормальном или патологическом ее состоянии, занимают привилегированное положение. Дело не только в том, что в этой области накоплено исключительное богатство документов (чего стоит одна только громадная масса собранных наблюдений над различными афазиями!), – нигде в такой степени, как здесь, анатомия, физиология и психология не достигали

В отношении этого последнего обстоятельства мы более конкретно обосновали свою позицию в статье под названием "Психофизиологический паралогизм" (*Revue de Métaphysique et de Morale*, novembre 1904)

» оедисловие к седьмому изданию

1 63

взаимообогащения. Тот, кто без предвзятых идей, придерживаясь почвы фактов, берется за античную проблему взаимоотношений между душой и телом, быстро обнаруживает, что эта проблема сосредоточена вокруг памяти и даже, более узко, словесной памяти: именно отсюда, без всякого сомнения, должен исходить свет, способный осветить самые темные стороны психофизиологической связи.

Каким образом собираемся мы решить нашу задачу? Если говорить вообще, психологическое состояние в большинстве случаев выходит далеко за пределы церебрального состояния. Я имею в виду, что церебральное состояние может объяснить только небольшую часть психологического – ту, которая может быть переведена на язык движений локомоции. Возьмите сложное мышление, разворачивающееся в последовательности абстрактных рассуждений. Это мышление сопровождается представлением образов, по крайней мере, зарождающихся. И сами эти образы могут быть представлены сознанием, только если наметятся, в виде набросков или тенденций, те движения, посредством которых образы могли бы быть инсценированы в пространстве, – я хочу сказать, тело приобретет те или иные поведенческие установки, и будет извлечено все то имплицитное содержание образов, которое связано с пространственным передвижением. Рисунок этих движений и есть та составляющая сложного мышления в ходе его развертывания, которая, по нашему мнению, непрерывно обозначается в церебральных состояниях. Тот, кому удалось бы проникнуть внутрь мозга и увидеть, что там происходит, получил бы, вероятно, сведения об этих намечающихся или готовящихся движениях, но нет никаких оснований полагать, что он узнал бы о мышлении нечто еще, кроме этого. Будь он наделен сверхчеловеческим умом, обладай секретом психофизиологической связи, – о том, что происходит при этом в сознании, он узнал бы не больше, чем можно узнать о театральной пьесе по хождению актеров по сцене.

Это означает, что отношение ментального к церебральному нельзя считать постоянным, как нельзя считать и простым. В зависимости от природы исполняемой пьесы, движения актеров могут сказать о ней больше или меньше: почти все, если

речь идет о пантомиме, почти ничего, если это остроумная комедия. Так же и церебральное состояние содержит больше или меньше сведений о нашем ментальном состоянии в зависимости от того, стремимся ли мы вынести нашу психологическую жизнь вовне, начав действовать, или же перевести ее во внутренний план чистого познания.

Таким образом, существуют, в конечном итоге, различные тональности ментальной жизни, и наша психологическая жизнь может разыгрываться в различных регистрах, то ближе, то дальше от действия, в соответствии с уровнем нашей обращенности к жизни. Именно в этом и состоит руководящая идея настоящей работы, она же послужила ее отправной точкой. То, что обычно считается самой большой сложностью психологического, с нашей точки зрения, оказалось, наиболее значительно расширяет границы личности в целом, которая, будучи, как правило, зажата в действии, вырастает в объеме больше, чем больше разжимаются прежде эти тиски, в которых она остается заключенной, и, как всегда неразделимая, распространяется на тем более

1640 отношение между духом и материей

обширную поверхность. То, что считается обычно неким нарушением самой психологической жизни, внутренним расстройством, болезнью личности, с нашей точки зрения, оказывается своего рода ослаблением или искажением того согласованного единства, которое связывает эту психологическую жизнь с ее моторным сопровождением, неким видоизменением или уменьшением нашего внимания к жизни во внешнем мире.

Этот тезис, как, впрочем, и тезис, согласно которому отрицается локализация словесных воспоминаний и афазии объясняются без обращения к этой локализации, совершенно иным способом, при первой публикации этой работы (1896) рассматривался как парадоксальный. Сегодня он кажется таковым в гораздо меньшей мере. Концепция афазии, бывшая в то время классической, общепринятой и считавшаяся неприкосновенной, спустя несколько лет понесла заметный ущерб, прежде всего из-за аргументов анатомического порядка, но отчасти также и под влиянием психологических соображений, вроде тех, которые уже в те годы излагались нами. А глубокие и оригинальные исследования неврозов, проведенные Пьером Жане в последние годы, – совершенно другими путями, через изучение "психастенических" форм этого заболевания – привели его к использованию понятий психологического "напряжения" и "внимания к реальности", первоначально трактовавшихся с метафизических точек зрения.

По правде говоря, такая их трактовка не была совершенно ошибочной. Не ставя под сомнение право психологии, равно как и метафизики, быть самостоятельной наукой, мы считаем, что каждая из этих двух наук должна ставить проблемы перед другой и может, в определенной мере, помочь в их разрешении. Да и как может быть иначе, если психология имеет своим предметом изучение человеческого разума, поскольку он применяется на практике, ради практической пользы, а метафизика – суть не что иное, как тот же самый человеческий разум, силящийся преодолеть условия утилитарного действия и постичь себя как чистую творческую энергию? Многие проблемы, кажущиеся посторонними друг другу при буквальном понимании терминов, в которых их ставят эти две науки, оказываются весьма близкими и способными разрешаться посредством друг друга, когда определенным образом углубляется их внутренний смысл. В начале наших исследований мы не предполагали, что может существовать какая-то связь между анализом памяти и вопросами, касающимися существования или сущности материи, о которых идет речь в споре между реалистами и идеалистами или между механицистами и сторонниками динамизма. Однако же связь эта вполне реальна и даже носит самый непосредственный характер, и если принять ее во внимание, кардинальная метафизическая проблема оказывается перенесенной на почву наблюдений, где может найти прогрессивное разрешение вместо того, чтобы бесконечно питать диспуты

См. работы Пьера Мари (Pierre Marie) и книгу Ф. Мутье: F. Moutier, L'aphasie de Broca (особенно chap. VII) Мы не имеем возможности входить в детали

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
исследований и контроверз, имеющих отношение к данному вопросу. Однако мы еще обратимся к выдержкам из недавней статьи Ж. Даньян-Бувере: J. Dagnan-Bouveret, L'aphasie motrice sous-corticale (Journal de psychologie normale et pathologique, janvier-février 1911) P. Janet, Les obsessions et la psychasthénie. Paris, F. Alcan, 1903 (особенно p.474-502.)

Предисловие к седьмому изданию 165

между школами в замкнутой области чистой диалектики. Сложность некоторых частей настоящей книги вызвана неизбежной запутанностью проблем, которая возникает при таком окольном подходе к философии. Но мы уверены, что без труда будет найден выход из этих сложностей, в основе которых лежит такая же сложность реальности, если неотступно придерживаться двух принципов, которые нам самим в наших исследованиях служили путеводной нитью. Первый состоит в том, что психологический анализ должен постоянно иметь в виду утилитарный характер наших ментальных функций, существенным образом обращенных к практическому действию. Второй – в том, что навыки, приобретенные на практике, распространяясь на сферу спекуляции, порождают там искусственные проблемы, и метафизика должна для начала освободиться от этих наносных неясностей.

Глава первая

Отбор образов для представления. – Роль тела.

Сделаем вид на мгновение, будто мы ничего не знаем ни о теориях материи, ни о теориях духа, ни о спорах по поводу реальности или идеальности внешнего мира. Тогда я оказываюсь в окружении наличных образов – в самом широком смысле, который только можно придать этому слову, – образов воспринимаемых, когда мои чувства открыты, не воспринимаемых в противоположном случае. Все эти образы действуют друг на друга всеми своими элементами, согласно неизменным законам, которые я называю законами природы, а так как совершенное знание этих законов дало бы мне, без сомнения, возможность вычислить и предвидеть заранее все, что совершится в каждом из этих образов, то будущее образов должно уже заключаться в их настоящем, не прибавляя к нему ничего нового. Однако один из образов выделяется среди всех прочих, выделяется тем, что я знаю его не только извне, посредством восприятий, но и изнутри, посредством аффектов: это мое тело. Я исследую условия, при которых возникают эти аффекты, и нахожу, что они всегда вклиниваются между воздействиями, получаемыми мною извне, и теми движениями, которые я собираюсь совершить, словно они должны оказывать какое-то неясно определенное влияние на мое окончательное поведение. Я вызываю перед моим умственным взором различные аффекты: мне кажется, что каждый из них на свой лад содержит в себе побуждение к действию и в то же время разрешение выждать и даже вообще ничего не делать.

Я присматриваюсь поближе и открываю в себе движения, начатые, но не выполненные, указание на некоторое принятое мною и более или менее полезное для меня решение, но не на принуждение, исключающее всякий выбор. Я припоминаю и сопоставляю известные мне факты и прихожу к выводу, что подобного рода чувствительность всегда появляется в органическом мире именно в тот момент, когда природа, наделив живое существо способностью передвигаться в пространстве, сообщает данному биологическому виду посредством этой чувствительности о тех общих опасностях, которые ему угрожают, и предоставляет индивидуумам возможность принимать меры предосторожности, чтобы их избежать. Я спрашиваю наконец мое сознание о роли, которую оно играет в аффектах, и оно отвечает, что в форме чувства или ощущения действительно сопровождает все мои поступки, инициативу которых я приписываю себе, и наоборот, отступает и исчезает в тот момент, когда

Отбор образов для представления 167

моя деятельность, став автоматической, свидетельствует тем самым, что она в нем

более не нуждается. Таким образом, или все эти явления обманчивы, или же действие, к которому приводит аффективное состояние, не принадлежит к числу тех, которые могут быть строго выведены из предыдущих феноменов, как одно движение из другого, а следовательно, добавляют нечто действительно новое во вселенную и ее историю. Будем же придерживаться явлений: я просто, без добавлений, сформулирую то, что чувствую и вижу. Все происходит так, как будто бы в той совокупности образов, которую я называю вселенной, что-то действительно новое могло бы возникнуть только при участии особого вида образов, образец которых дает мне мое тело.

Я изучаю теперь на телах, подобных моему, конфигурацию этого особого образа, который я называю своим телом. Я замечаю афферентные нервы, которые передают внешнее возбуждение нервным центрам, затем нервы эфферентные, которые из центра передают возбуждение периферии и приводят в движение отдельные части тела или все тело целиком. Я спрашиваю физиологов и психологов о назначении тех и других. Они отвечают, что если центробежные движения в нервной системе могут вызвать перемещения тела или частей тела, то движения центростремительные, по крайней мере некоторые из них, порождают представления внешнего мира. Как это следует понимать?

Афферентные нервы – образы, мозг – образ, возбуждения, передаваемые нервами от органов чувств и распространяющиеся на мозг – также образы. Для того, чтобы образ, который я называю церебральным возбуждением, мог породить внешние образы, он должен, очевидно, так или иначе содержать их в себе, и представление всей целиком материальной вселенной должно быть заключено в представлении этого молекулярного движения.

Но достаточно высказать такое предположение, чтобы обнаружилась его нелепость. Ведь это мозг составляет часть материального мира, а не материальный мир – часть мозга. Устраните образ, носящий имя материального мира, и вы тем самым уничтожите и мозг, и церебральное возбуждение, являющиеся частями этого образа. Предположите, наоборот, что исчезают эти два образа – мозг и его молекулярные возбуждения: согласно нашему допущению мы не устраняем при этом ничего, кроме них самих, то есть нечто совершенно ничтожное, незначительную деталь грандиозной картины. Картина в ее целом, то есть вселенная, остается нетронутой.

Рассматривать мозг как условие существования совокупного образа – значит в подлинном смысле противоречить самому себе, ибо мозг, по нашему допущению, есть лишь часть этого образа. Ни нервы, ни нервные центры не могут, следовательно, обуславливать образ вселенной.

Остановимся на этом последнем пункте. Вот внешние образы, затем мое тело, наконец, те видоизменения, которые мое тело внесло в окружающие образы. Я прекрасно вижу, как внешние образы влиакуг на тот образ, который я называю своим телом: они сообщают ему движение. Я вижу также, как мое тело влияет на внешние образы: оно возвращает им движение. Итак, в целом материального мира мое тело – это образ, который действует, как и все другие образы, получая и отдавая движе-

168 действие реальное и действие возможное

ния, с той лишь разницей, быть может, что тело способно, по-видимому, до известной степени избирать тот способ, каким оно возвращает полученное. Но каким же образом мое тело вообще, моя нервная система в частности могут породить все мое представление о вселенной или хотя бы часть его? Скажете ли вы, что мое тело – это материя, или что оно – образ, безразлично: от слова дело не изменится. Если оно – материя, оно составляет часть материального мира, а следовательно, материальный мир существует вокруг него или вне его. Если же оно образ, то образ этот не может дать больше того, что в нем заключено, а так как, согласно допущению, это образ одного только моего тела, то было бы нелепо пытаться вывести из него образ всей вселенной. Мое тело – предмет, назначение которого приводить в движение себя и другие предметы, – это, следовательно, центр

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
действия; оно не в состоянии породить представления.

Но если мое тело суть предмет, способный оказывать реальное и новое воздействие на окружающие его предметы, то оно должно занимать среди этих последних привилегированное положение. Вообще говоря, тот способ, каким какой бы то ни было образ влияет на другие образы, вполне определен и даже может быть вычислен, исходя из так называемых законов природы. Так как образ не делает выбора, то ему нет надобности ни исследовать окружающую его область, *ни проигрывать заранее несколько, пока только возможных, действий. Необходимое действие совершится само собой, когда пробьет его час. Но я предположил, что роль того образа, который я называю своим телом, состоит в том, чтобы оказывать реальное влияние на другие образы, а следовательно, избирать один из многих материально возможных способов действия. Способы действия, без сомнения, подсказываются ему той более или менее значительной выгодой, которую оно может извлечь из окружающих образов; необходимо, следовательно, допустить, что на обращенной к моему телу стороне, или лицевой части этих образов, так или иначе обозначено, что в них может быть для него полезным.

В самом деле, я замечаю, что размеры, формы и даже цвета внешних предметов изменяются в зависимости от того, приближается к ним мое тело или удаляется от них, что сила запахов, интенсивность звуков возрастает или убывает с расстоянием; что само это расстояние, наконец, представляет, так сказать, ту меру, в какой окружающие тела гарантированы от непосредственного воздействия моего тела. По мере того, как расширяется горизонт моего восприятия, образы, окружающие меня, как бы рисуются на более однородном фоне и становятся более для меня безразличными.

Чем этот горизонт ограниченнее, ближе, тем отчетливее очерчивающие его предметы размещаются в соответствии с большей или меньшей легкостью для моего тела коснуться их или привести в движение. Таким образом, они, как некое зеркало, воспроизводят то влияние, которое мое тело может оказать на них; порядок их расположения соответствует убывающей или возрастающей власти моего тела над ними. Предметы,

Отбор образов для представления 169

о окружающие мое тело, отражают возможное действие моего тела на них.

Я хочу теперь, не затрагивая прочих образов, слегка видоизменить тот из них, который я называю своим телом. В этом образе я намеренно отсеку афферентные нервы головного и спинного мозга. Что тогда произойдет? Несколькими ударами скальпеля рассечено несколько пучков нервных волокон – и больше ничего: вся остальная вселенная и даже все остальные части моего тела остались неизменными. Произведенное изменение, таким образом, незначительно. А между тем "мое восприятие" исчезло все целиком. Исследуем поближе, что же в сущности произошло. Вот образы, из которых слагается вселенная вообще, вот те из них, которые находятся в непосредственном соседстве с моим телом, вот, наконец, само мое тело.

В этом последнем образе обычная роль центростремительных нервов сводится к передаче движения головному или спинному мозгу; центробежные нервы отводят это движение обратно к периферии. Рассечение центростремительных нервов может поэтому иметь лишь один действительно доступный пониманию результат, а именно: прекращение тока, направляющегося от периферии к периферии и проходящего через центр; тем самым мое тело лишается возможности получать от окружающих его вещей то качество и то количество движения, которые ему необходимы для того, чтобы затем на них воздействовать. Все это затрагивает действие и только действие. А между тем целиком исчезло мое восприятие. Что это может означать, как не то, что мое восприятие предназначено именно для того, чтобы рисовать в совокупности образов, в виде проекции или отражения, виртуальные, или возможные, действия моего тела? Но система образов, в которой скальпель произвел лишь ничтожное

изменение, и есть то, что я называю обычно матери-а|и|е|и|м миром; с другой стороны, то, что исчезло, и есть "мое восприятие" материи. Отсюда следующие два предварительных определения: я называю материей совокупность образов, а восприятием материи те же самые образы в их отношении к возможному действию одного определенного образа, моего тела.

Изучим это последнее соотношение глубже. Я рассматриваю свое тело с его центростремительными и центробежными нервными связями, его нервными центрами. Я знаю, то внешние объекты сообщают афферентным нервам возбуждения, которые распространяются к центрам, что эти центры являются местом самых разнообразных молекулярных движений, что эти движения зависят от природы и положения объектов.

Измените окружающие предметы, перемените их отношение к моему телу, и совершенно иными будут внутренние движения моих воспринимающих центров. Но совершенно иным будет также и "мое восприятие". Мое восприятие есть, таким образом, функция этих молеку-

170 Представление

лярных движений, оно зависит от них. Но какова же эта зависимость? Вы скажете, быть может, что в конечном счете я не представляю себе ничего, кроме молекулярных движений мозгового вещества. Но может ли это утверждение иметь хоть малейший смысл, если образ нервной системы и ее внутренних движений, согласно нашей гипотезе, есть лишь образ одного материального предмета, а я представляю себе материальную вселенную всю целиком?

Правда, делаются попытки обойти эту трудность.

Мозг изображают аналогичным по своей сущности остальной материальной вселенной, он, следовательно, есть образ, если вселенная есть образ. Но так как после этого хотят, чтобы внутренние движения мозга создавали или определяли собой представление всего целиком материального мира, то есть образ, бесконечно превосходящий образ мозговых вибраций, в молекулярных движениях и движении вообще приходится видеть уже не образы, подобные всем другим, а нечто большее или меньшее, чем образ, во всяком случае, нечто, имеющее иную природу, так что возникновение из этого нечто представления было бы настоящим чудом. Материя становится чем-то существенно отличным от представления, чем-то, что не воплощается для нас ни в каком образе; ей противопоставляют свободное от всяких образов сознание, о котором мы не можем составить себе никакого понятия; наконец, чтобы наполнить сознание, изобретают непостижимое воздействие этой бесформенной материи на эту нематериальную мысль. Но истина в том, что движения материи для нас совершенно ясны, поскольку они суть образы^Λ и что нам нет никакой надобности искать в движении чего-либо иного, кроме того, что мы в нем видим.

Единственную трудность представлял бы тогда лишь вопрос о том, как эти совершенно обособленные, частные образы могут породить бесконечное разнообразие представлений?

Но зачем ломать над этим голову, если мозговые вибрации образуют часть материального мира, а следовательно, занимают лишь маленький уголок в мире представлений?

Что же такое, наконец, эти движения и какую роль играют эти образы в представлении целого? – На мой взгляд, тут едва ли возможны сомнения: назначение происходящих внутри моего тела молекулярных движений в том, чтобы подготавливать реакцию моего тела на воздействие внешних предметов, кладя ей начало.

Будучи сами образами, они не могут творить образов; но они отмечают в каждый данный момент, подобно подвижной магнитной стрелке, положение одного определенного образа, моего тела, относительно образов, его окружающих. В общей совокупности представлений значение их вполне ничтожно; но они имеют существенное значение для той части представлений, которую я называю своим телом, ибо они набрасывают в каждый данный момент план его возможного поведения. Существует, следовательно, лишь различие в степени и не может быть различия по существу между так называемой перцептивной способностью головного мозга и рефлекторными функциями спинного мозга.

Спинной мозг превращает возбуждения, которым он подвергся, во вполне законченные движения; головной мозг продолжает их, превращая в зарождающиеся реакции, но и в том, и в другом случае роль

Отбор образов для представления¹⁷¹

нервной материи состоит в том, чтобы проводить, опосредовать или тормозить движения между ними. Отчего же тогда "мое восприятие вселенной" представляется зависимым от внутренних движений мозгового вещества, меняется вместе с ним и исчезает, когда они прекращены?

Трудность этой проблемы обуславливается в особенности тем, что серое вещество мозга и его видоизменения представляются как нечто самодостаточное и то, что может быть изолировано от остальной вселенной. Материалисты и дуалисты в сущности согласны между собой в этом пункте. И те, и другие рассматривают как обособленные определенные молекулярные движения мозгового вещества, и тогда уже одни видят в нашем осознанном восприятии некую фосфоресценцию, которая сопровождает эти движения и освещает их след, а другие развертывают наши восприятия в сознании, непрерывно выражающем на своем языке молекулярные колебания вещества мозговой коры. И в том, и в другом случае восприятию вменяется в обязанность лишь изображать или переводить на другой язык состояния нашей нервной системы. Но можно ли рассматривать живую нервную систему независимо от организма, который ее питает, без атмосферы, которой этот организм дышит, без Земли, которую эта атмосфера окутывает, без солнца, к которому Земля тяготеет? И вообще говоря, не содержит ли в себе фикция изолированного материального предмета нечто абсурдное, поскольку предмет этот заимствует свои физические свойства от тех отношений, которые он поддерживает со всеми другими предметами, и каждым из своих определений, а следовательно, и самим своим существованием обязан тому месту, которое он занимает во вселенной? Не стоит поэтому говорить, что наши восприятия зависят лишь от молекулярных движений мозговой массы. Скажем лучше, что они изменяются вместе с ними, но что и сами эти молекулярные движения неразрывно соединены с остальным материальным миром. Вопрос, следовательно, уже не просто в том, какова связь между нашими представлениями и видоизменениями серого вещества. Проблема расширяется и вместе с тем ставится в более ясной форме. Вот система образов, которую я называю моим восприятием вселенной и которая переворачивается сверху донизу из-за мимолетных вариаций одного привилегированного образа, моего тела. Этот образ занимает центральное место: с ним соотносятся все остальные и с каждым его движением все меняется, как от поворота калейдоскопа.

Вот, с другой стороны, те же образы, но отнесенные каждый к самому себе; они без сомнения влияют друг на друга, но так, что результат всегда сохраняет соответствие с причиной: это то, что я называю вселенной. Как объяснить, что обе эти системы сосуществуют и что одни и те же образы относительно неизменны во вселенной и бесконечно изменчивы в восприятии? Таким образом, вопрос, вокруг которого вращается спор материализма с идеализмом, а быть может, также материализма со спиритуализмом, должен быть, по нашему мнению, поставлен в следующей форме: Почему одни и те же образы могут входить сразу в две различные системы, причем в одной из них каждый образ меняется сам по себе и в той строго определенной мере, в какой он подвергается реальному воздействию со стороны окружающих образов а в

другой, все образы меняются в связи с одним, и в той непостоянной мере, в какой они отражают возможное действие этого привилегированного образа?

Всякий образ является внутренним по отношению к одним, внешним по отношению к другим образам, но о совокупности образов нельзя сказать, что она является для нас внешней или внутренней, ибо внешность и внутренность есть лишь отношение между образами. Следовательно, спросить, существует ли вселенная только в нашей мысли или вне ее, значит поставить вопрос в неразрешимой форме, допуская даже, что входящие в его формулировку слова осмысленны; это значило бы осудить себя на бесплодную дискуссию, в которой термины "мысль", "существование", "вселенная" неизбежно будут браться спорящими сторонами в совершенно различных смыслах. Чтобы решить этот спор, надо прежде всего найти ту общую почву, на которой могла бы вестись борьба, а поскольку и те, и другие признают, что мы постигаем вещи только в форме образов, наша проблема должна быть поставлена именно и только в связи с образами. Ни одно философское учение не оспаривает, что одни и те же образы могут входить сразу в две различные системы, – в систему, которая принадлежит науке в которой каждый образ, относясь только к самому себе, сохраняет абсолютное значение, и в систему, составляющую мирознания, в которой все образы регулируются одним центральным – нашим телом, изменениям которого они следуют. Вопрос, из-за которого происходит борьба между реализмом и идеализмом, становится, таким образом, совершенно ясным: каковы те отношения, в которых находятся друг к другу эти две системы образов? И легко увидеть, что субъективный идеализм состоит в том, что первая система выводится из второй, а материалистический реализм – в том, что вторая выводится из первой.

В самом деле, реалист исходит из вселенной, то есть из совокупности образов, взаимоотношения которых регулируются неизменными законами; здесь действия сохраняют строгое соответствие с причинами и характерным признаком является отсутствие центра, другими словами, все образы разворачиваются в одной общей плоскости, простирающейся в бесконечность. Но он не может в то же время не констатировать, что вне этой системы существуют восприятия, то есть системы, в которых все эти образы соотносены с одним из них, располагаются вокруг него в различных планах и целиком преобразуются при небольших переменах в этом центральном образе. Идеалист исходит из восприятия, и в системе образов, которую он берет как данное, существует один привилегированный образ, его тело, с которым и соотносятся все прочие. Но как только он задается целью вывести настоящее из прошлого или предвидеть будущее, он вынужден покинуть эту центральную позицию, поместить все образы в одной и той же плоскости, предположить, что они изменяются уже не в зависимости от центрального образа, а сами по себе, и рассматривать их так, как будто они составляют «лсг системы, где всякое изменение строго соразмерно со своей причиной. Только при этом условии возможно познание вселенной, а так как это познание существует, так как научному знанию удается предвидеть будущее, то гипотеза, лежащая в его основе, не может считаться произвольной. Только первая система дана в нашем наличном переживаемом опыте, и

Отбор образов для представления'173

•

мы верим во вторую лишь потому, что утверждаем непрерывность прошлого, настоящего и будущего. Таким образом, и идеализм, и реализм берут за данное одну из двух систем и пытаются вывести из нее другую.

Но ни реализм, ни идеализм не могут успешно это осуществить, так как ни одна из двух систем образов не подразумевает другой и каждая из них самодостаточна. Если вы берете за данное ту систему образов, которая не имеет центра и у которой каждый элемент обладает абсолютным значением, то я не вижу, почему к этой системе должна присоединиться другая, где каждый образ имеет неопределенное

значение и зависит от всех перемен центрального образа. Итак, чтобы возникло представление, приходится привлекать какого-нибудь *deus ex machina*, вроде материалистической гипотезы сознания-эпифеномена. Для этого среди всей совокупности первоначально представленных как самодостаточные образов выбирают тот, который мы называем нашим мозгом, и сообщают внутренним состояниям этого образа единственную в своем роде привилегию – неизвестно как раздваиваться и воспроизводить – на этот раз уже в относительной и изменчивой форме – все другие образы. Правда, затем делают вид, что не придают представлению никакой важности, что считают его только фосфоресценцией, оставляемой мозговыми вибрациями, как будто мозговое вещество и мозговые вибрации, включенные в образы, составляющие наше представление, могут иметь иную природу, чем это последнее! Всякий реализм превращает, таким образом, восприятие в случайность, а следовательно, в неразрешимую тайну. Но и наоборот, если вы берете за данное систему неустойчивых образов, расположенных вокруг привилегированного центра и в корне изменяющихся при неуловимых смещениях этого центра, то вы уже с самого начала исключаете закономерность природы, – закономерность, не зависящую ни от той точки, где вы размещаетесь, ни от того объекта, из которого вы исходите. И вы не сможете восстановить этой закономерности иначе как прибегнуть в свою очередь к *deus ex machina*, а именно допустить произвольную гипотезу какой-то предустановленной гармонии между вещами и духом, или по меньшей мере, говоря словами Канта, между нашей "чувственностью" и "рассудком". Теперь наука становится случайностью, а ее успехи неразрешимой загадкой.

Нет, следовательно, ни малейшей возможности вывести ни первую систему из второй, ни вторую из первой, и оба враждующих учения, реализм и идеализм, когда вы сводите их к их общей почве, спотыкаются, хотя и в противоположном смысле, об одно и то же препятствие.

Исследуя глубже те основы, на которых покоятся оба эти учения, мы открываем их общий постулат, который можно сформулировать так: восприятие носит всецело теоретический характер оно есть чистое познание. Весь спор касается лишь того достоинства, которое следует приписать этому познанию по сравнению с познанием научным. Одни признают за данное тот строй и порядок, которых требует наука, и видят в восприятии лишь смутное и предварительное научное знание. Другие ставят во главе восприятия, возводят его в абсолют и считают *нлνκν* лишь символическим выражением воспринимаемой реальности. Но и для тех, и для других воспринимать – значит прежде всего познавать.

174'. Отбор образов

Между тем этот-то постулат мы и оспариваем. Его несостоятельность разоблачается даже поверхностным исследованием строения нервной системы в мире животных, и его нельзя принять, глубоко не затемнив тройную проблему материи, сознания и их взаимоотношений.

В самом деле, проследим шаг за шагом прогресс внешнего восприятия, начиная с амёбы и кончая высшими позвоночными. Мы найдем, что уже в состоянии простого комочка протоплазмы живая материя обладает раздражимостью и способностью сокращаться, что она отзывается на внешние влияния, реагирует на них механически, физически и химически. Поднимаясь выше в ряду организмов, мы замечаем физиологическое разделение труда. Появляются нервные клетки, они дифференцируются, стремятся соединиться в систему. Вместе с тем животное начинает реагировать на внешнее раздражение более разнообразными движениями. Но даже если полученное извне возбуждение не приведет тотчас же к совершению действия, это действие, по-видимому, ожидает лишь удобного случая, и то же самое впечатление, которое сообщает организму о переменах в окружающей среде, вызывает или подготавливает в нем приспособления к этим переменам. У высших позвоночных возникает, без сомнения, коренное различие между чисто автоматическими актами, которые всегда регулирует спинной мозг, и волевой активностью, которая требует вмешательства головного мозга. Можно было бы вообразить, что полученное извне впечатление вместо того, чтобы развиваться в движении же, при этом сублимируется в познание. Но достаточно сравнить строение головного и спинного мозга, чтобы убедиться, что между функциями головного мозга и рефлекторной деятельностью

спинного существует различие лишь в сложности, а не по существу. В самом деле, что происходит при рефлекторном акте? Центростремительное движение, сообщенное организму внешним раздражителем, тотчас же отражается посредством нервных клеток спинного мозга в форме центробежного движения, вызывающего сокращение мускулов. С другой стороны, в чем состоит функция коры головного мозга? Периферическое раздражение, вместо того, чтобы распространиться прямо к двигательной клетке спинного мозга и вызвать необходимое сокращение мускула, поступает предварительно в кору головного мозга, а оттуда снова спускается к тем же двигательным клеткам спинного, которые являются посредниками при рефлекторном движении. Что же оно приобрело, совершив этот обходный путь, и что должны дать ему так называемые чувствующие клетки мозговой коры? Я совершенно не в состоянии понять, каким образом могло бы оно почерпнуть там чудесную способность превращать вещи в представления, и к тому же, как мы сейчас увидим, гипотеза эта оказывается бесполезной. Но вот что совершенно для меня очевидно: клетки различных областей коры (так называемых сенсорных зон), расположенные между конечными разветвлениями центростремительных волокон и двигательными клетками района Роландовой борозды, позволяют воспринятому возбуждению произвольно использовать тот или другой двигательный механизм спинного мозга, то есть выбирать свой конечный эффект. Чем многочисленнее будут эти промежуточные клетки, чем больше выпустят они амевидных отростков, способных, как известно, различными способами сближаться между собой, тем больше будет число и раз-

Роль тела 175

нообразии путей, могущих открыться перед идущим от периферии возбуждением, а следовательно, тем больше будет систем движений, между которыми сможет выбрать каждое отдельное возбуждение. Таким образом, на наш взгляд, головной мозг должен быть не чем иным, как своего рода центральной телефонной станцией: его роль "дать соединение" или задержать его. Он ничего не прибавляет к тому, что получает, но так как все воспринимающие органы связаны с ним своими конечными отростками и так как все двигательные механизмы продолговатого и спинного мозга имеют там своих полномочных представителей, то он действительно представляет центр, в котором периферическое возбуждение связывается с тем или другим двигательным механизмом, но уже избранным произвольно, а не навязанным внешней необходимостью. С другой стороны, так как громадное многообразие двигательных путей может открыться все сразу, перед одним и тем же возбуждением, пришедшем с периферии, то возбуждение это в состоянии разделяться между ними до бесконечности, а следовательно, теряться в бесчисленных двигательных реакциях, едва-едва зародившихся. Таким образом, роль головного мозга заключается то в том, чтобы провести полученное движение к органу выбранной реакции, то в том, чтобы открыть для этого движения всю совокупность двигательных путей и дать ему таким образом возможность наметить все возможные реакции, которые оно предполагает, расчленившись между ними и рассеяться. Другими словами, головной мозг представляется нам инструментом анализа по отношению к воспринятому движению и инструментом селекции по отношению к движению выполняемому. Но и в том, и в другом случае роль его ограничивается переносом и дроблением движения. И ради цели познания нервные элементы в высших центрах коры работают не больше, чем в спинном мозгу: их задача лишь в том, чтобы сразу наметить множество возможных действий или организовать одно из них.

Это значит, что нервная система не имеет ничего общего с устройством, предназначенным производить или хотя бы даже подготавливать представления. функция ее состоит в том, чтобы воспринимать возбуждения, приводить в движение моторные механизмы и представлять как можно большее их число в распоряжение каждому отдельному возбуждению. Чем сильнее она развивается, тем более многочисленными и удаленными друг от друга становятся те точки пространства, которые она соотносит со всеми более усложняющимися моторными механизмами; вместе с тем увеличивается диапазон, предоставляемый ей нашему действию, и именно в этом и состоит ее растущее совершенство. Но если нервная система, от низших животных к высшим, ориентирована на все менее и менее однозначно заданное действие, то не следует ли думать, что и восприятие, прогресс которого определяется тем же самым правилом, тоже, как и нервная система, целиком ориентировано на действие, а не на чистое познание? И не должно ли в таком случае само растущее богатство этого восприятия просто символизировать растущую

долю неопределенности, неоднозначности, имеющей место при выборе живым существом его поведения относительно окружающих вещей? Попробуем исходить из этой неопределенности как из руководящего принципа. Посмотрим, нельзя ли, поскольку неопределенность допущена, вывести из нее возможность или даже необходимость сознательного

176 Отношение представления к действию

восприятия. Другими словами, возьмем систему согласованных и связанных между собой образов, называемую материальным миром, и вообразим, что в ней там и сям разбросаны центры реального действия, представленные живой материей: я утверждаю, что вокруг каждого из этих центров должны разместиться образы, зависящие от его положения и меняющиеся вместе с ним; я утверждаю, следовательно, что в этом случае необходимо должно возникнуть сознательное восприятие, и более того, можно понять, как возникает такое восприятие.

Заметим прежде всего, что пространства сознательного восприятия и интенсивного действия, которыми располагает живое существо, связывает строгий закон. Если наше предположение правильно, сознательное восприятие появляется в тот момент, когда воспринятое материей возбуждение не продолжается в виде необходимой реакции. Правда, в случае, когда речь идет о примитивном организме, возбуждение может возникнуть лишь при непосредственном соприкосновении с соответствующим предметом, и тогда реакция не может быть отсроченной даже ненадолго. Таким образом, у низших видов осязание является одновременно и пассивным и активным: оно служит и чтобы распознать, и чтобы схватить жертву, и чтобы почувствовать опасность, и чтобы попытаться избежать ее. Различные отростки простейших, амбулакральные ножки иглокожих – это органы движения и в такой же мере – органы тактильного восприятия; стрекательный аппарат кишечнорастворимых – орган восприятия и в то же самое время средство защиты. Одним словом, чем непосредственнее должна быть реакция; тем более восприятие должно сводиться к простому соприкосновению, и процесс восприятия и реакции, взятый в целом, едва ли удастся отличить от механического толчка, за которым следует необходимое движение. Но по мере того, как реакция становится более неоднозначной, оставляет больше места колебаниям, возрастает и то расстояние, на котором животное начинает ощущать воздействие интересующего его предмета. С помощью зрения, слуха оно вступает во взаимосвязь со все большим и большим числом вещей и подвергается все более и более отдаленным влияниям, и обещают ли ему эти вещи какую-то выгоду, или угрожают какой-то опасностью, – выполнение как этих обещаний, так и этих угроз отсрочивается. Таким образом, та доля независимости, которой располагает живое существо или, как мы бы сказали, та зона индетерминации, которая окружает его активность, позволяет ему *a priori* определить число и удаленность взаимодействующих с ним предметов. Каково бы ни было это воздействие, то есть какова бы ни была внутренняя природа восприятия, можно утверждать, что амплитуда восприятия строго соразмерна неоднозначности следующего за ним действия, и можно, таким образом, сформулировать следующий закон: восприятие располагает пространством строго пропорционально времени, которым располагает действие.

Но почему это отношение организма к более или менее отдаленным от него объектам принимает именно форму сознательного восприятия? Мы рассмотрели, что происходит в организме; мы видели движения, переданные или приостановленные, преобразовавшиеся в законченные действия или раздробившиеся в зарождающиеся. Движения эти, по-видимому, касаются действия и только действия: они не имеют никакого

177 Роль тела

отношения к процессу представления. Мы рассмотрели затем само действие и ту неоднозначность, индетерминацию, которая его окружает; мы убедились, что зона индетерминации предполагается самой структурой нервной системы, которая приспособлена скорее именно для того,

чтобы обеспечить действию множественность возможных путей, чем для того, чтобы создавать представления. Исходя из этой индетерминации как факта, мы можем сделать вывод о необходимости восприятия, то есть меняющегося отношения между живым существом и влияниями на него со стороны интересующих это живое существо более или менее отдаленных предметов. Почему же восприятие это оказывается сознательным и почему все происходит таким образом, как будто бы это сознание порождается внутренними движениями мозгового вещества?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны прежде всего упростить те условия, при которых осуществляется сознательное восприятие. В самом деле, нет такого восприятия, которое не носило бы на

себе печати воспоминаний. К непосредственным и наличным данным

наших чувств мы примешиваем тысячи и тысячи деталей из нашего

прошлого опыта. Чаще всего эти воспоминания теснят наши реальные восприятия, так что они становятся для нас лишь указанием, простыми "знаками", предназначенными для того, чтобы напомнить нам образы прошлого. Этой ценой достигаются легкость и быстрота восприятия, но отсюда же рождаются и всякого рода иллюзии. Ничто не мешает нам

* подставить на место этого восприятия, целиком пропитанного нашим прошлым, такое восприятие, которое сопровождалось бы вполне зрелым и оформленным сознанием, но, всецело заключенное в настоящем,

* было бы поглощено за отсутствием всякой другой работы только задачей усвоения формы внешнего предмета. Нам, быть может, скажут, что мы строим произвольную гипотезу и что такое идеальное восприятие, полученное путем устранения индивидуальных особенностей, не отвечает уже более ничему реальному? Но мы, собственно, и надеемся

И показать, что индивидуальные особенности лишь накладываются на это безличное восприятие, составляющее саму основу нашего познания вещей, и что только вследствие непонимания его истинной роли, только из-за неумения отличить от него то, что к нему присоединяет или у него отнимает память, все восприятие в целом считается неким внутренним и субъективным видением, отличающимся от воспоминания только большей своей интенсивностью. Итак, таково наше первое допущение. Но оно естественно влечет за собой второе. В самом деле, каким бы

и кратким ни представили мы себе наше восприятие, оно все же непре-

менно обладает некоторой длительностью и, следовательно, предполагает известное усилие памяти, которая объединяет множественность моментов, продолжая их одни в другие. Мало того, как мы попытаемся показать, "субъективность" чувственных качеств прежде всего и состо-

ит в своеобразном стягивании реальности посредством нашей памяти. Короче говоря, память, в двух своих формах, поскольку она набрасывает пелену воспоминаний на фон непосредственного восприятия, и поскольку она стягивает воедино множественность моментов, составляет главное привнесение индивидуального сознания в восприятие, субъективную сторону нашего познания вещей. Игнорируя этот вклад, ради того, чтобы придать нашей мысли большую ясность, мы зайдем по пути

178 Образ и реальность

упрощения значительно дальше, чем это допустимо. Нам придется затем вернуться назад и, восстановив память в ее правах, снова проследить уже пройденную нами дорогу, с тем, чтобы исправить те преувеличения, которые могли вкратиться в наши выводы. Таким образом, в последующем рассуждении следует видеть лишь схематический набросок, и мы просим пока иметь в виду под восприятием не мое конкретное и сложное восприятие, которое насыщено воспоминаниями и всегда обнаруживает известную глубину длительности, но восприятие чистое, восприятие, существующее скорее *de jure*, чем *de facto*, то восприятие, которым обладало бы существо, находящееся там же, где нахожусь я, живое подобно мне, но всецело поглощенное настоящим и способное, благодаря устранению памяти во всех ее формах, достигнуть одновременно непосредственного и моментального видения материи. Итак, примем за основу это допущение и спросим себя, как можно объяснить сознательное восприятие?

Всякая попытка дедуцировать сознание была бы предприятием слишком самонадеянным, но в данном случае в этом, на самом деле, и нет необходимости: полагая материальный мир, мы приняли за данное совокупность образов, впрочем, не имея возможности принять за данное ничего другого. Ни одна теория материи не в состоянии избежать этой необходимости. Сведите материю к движущимся атомам: эти атомы, даже лишённые физических качеств, могут быть определены, только если предположить их возможное видение, пусть и без освещения, и какое-то допустимое с ними взаимодействие, может быть, без вещественного опосредования. Представьте атомы сосредоточенными в центрах сил, рассейте их в вихрях, развивающихся в некотором жидком или газообразном флюиде: этот флюид, эти движения, эти центры смогут быть, в свою очередь, определены только через какое-то невесомое соприкосновение с ними, легчайший импульс, бесцветное свечение, – и все это будут образы. Действительно, образ может быть, но не быть воспринятым, он может иметь место, обладать наличным бытием, но не быть представленным. Разница между двумя терминами, наличным бытием (присутствием) и представлением, может, по-видимому, служить мерой интервала, отделяющего материю саму по себе от ее представления нами. Исследуем, однако, эти темы более внимательно и посмотрим, в чем же фактически состоит эта разница. Если бы во втором термине содержалось больше, чем в первом, если бы для перехода к представлению от наличного бытия нужно было бы какое-то добавление, дистанция была бы непреодолимой и переход от материи к восприятию был бы покрыт непроницаемой тайной. Дело обстоит иначе, если можно перейти от первого термина ко второму, идя по пути уменьшения содержания, и если представление образа оказывается чем-то меньшим, чем его простое наличное бытие: тогда было бы достаточно лишить эти обладающие наличным бытием образы какой-то части их содержания, и их простое наличие превратилось бы в представление. Но вот образ, который я называю материальным предметом: я представляю его себе. Почему же кажется, что сам по себе он существует иначе, чем для меня? Дело в том, что, связанный с совокупностью прочих образов, он продолжается в тех из них, которые за ним следуют, и в свою очередь продолжает собой те, которые ему предшествуют. Чтобы

Роль тела¹⁷⁹

превратить его чистое и простое существование в представление, достаточно разом устранить то, что за ним следует, то, что ему предшествует, а также то, что его наполняет, сохранив лишь его внешнюю кору, поверхностную оболочку. Как наличный образ, как объективную реальность, его отличает от образа только представляемого необходимость действовать каждой из своих точек на все точки других образов, противопоставлять каждому внешнему воздействию равное и противоположно направленное противодействие, одним словом, необходимость быть проводником всевозможных изменений, распространяющихся в бесконечности вселенной. Я превратил бы его в представление, если бы смог его изолировать, изолировав в особенности его внешнюю оболочку. Представление уже заключено в нем* но всегда лишь виртуально, в возможности; оно нейтрализуется в тот момент, когда актуализируется в образе, в силу необходимости продолжиться и пропасть в других образах. Чтобы достигнуть этого превращения, вовсе нет нужды бросать на предмет дополнительный свет, нужно, наоборот, затемнить некоторые его стороны, отнять у него значительную долю его содержания, так чтобы остаток уже не был включен в окружающую среду, как включена вещь, но отделялся от нее подобно картине. Но если

живые существа образуют во вселенной "центры индетерминации" и если степень этой индетерминации измеряется числом и совершенством их функций, то вполне понятно, что уже одно наличие этих живых существ может быть равносильно исключению, или затемнению, тех сторон предметов, которые к этим функциям не имеют отношения. Те внешние воздействия, которые безразличны для живых существ, проходят сквозь них, как бы не задерживаясь; остальные, обособляясь от первых, становятся "восприятиями" в силу самого факта этого обособления. Все происходит, следовательно, таким образом, как будто мы частично отражаем свет, исходящий от вещей, – свет, который, распространяясь беспрепятственно, никогда не был бы замечен. Образы, которые нас окружают, как будто поворачиваются к нашему телу своей освещенной стороной, но освещена у них лишь та сторона, которая в состоянии нас практически затронуть: они выделяют из своего содержания то, на чем нам следовало бы задержаться, то, на что мы способны повлиять. Но так как между собой они объединены чисто механической связью и в этом смысле друг для друга безразличны, то обращены один к другому всеми своими сторонами сразу. Другими словами, образы оказывают друг на друга действие и противодействие всеми своими элементарными частями, а следовательно, ни один из них не воспринимает и не воспринимается сознательно. Стоит, однако же, им столкнуться в той или иной степени со спонтанностью реакции, их действие пропорционально уменьшается, и это уменьшение их действия и есть по существу то представление, которое мы о них имеем. Следовательно, наше представление вещей рождается в итоге из их отражения нашей свободой.

Когда луч света попадает из одной среды в другую, он обычно преломляется и проходит вторую среду в измененном направлении. Но относительная плотность двух сред может быть такова, что для угла падения определенной величины преломление становится уже невозможным. Тогда происходит полное отражение. Образуется мнимое изображение светящейся точки, которое как бы символизирует невозмож-

180 Образ и реальность

ность для лучей света следовать своим путем. Восприятие – это явление того же рода. В наличии есть лишь совокупность образов материального мира вместе с совокупностью их внутренних элементов. Но если предположить центры подлинной, то есть спонтанной активности, то лучи, которые их достигнут и вызовут их ответное действие, вместо того, чтобы пройти насквозь, будут как бы отброшены назад, обрисовав при этом очертания предмета, их посылающего. Не возникнет ничего положительного, ничего такого, что присоединилось бы к образу, ничего нового. Предметы лишь опустят какие-то составляющие своего реального действия, чтобы очертить таким образом свое возможное действие, то есть в сущности возможное влияние на них живого существа. Восприятие, таким образом, вполне может быть уподоблено явлениям отражения, имеющим место при сопротивлении среды преломлению: это нечто вроде эффекта миража'.

Утверждая это, мы утверждаем вместе с тем, что для образа бытия бытия воспринятым сознанием – состояния, различающиеся между собой лишь по степени, а не по природе. Реальность материи состоит в совокупности ее элементов и всякого рода их действий. Наше представление о материи – это мера нашего возможного действия на тела, результат отбрасывания того, что не затрагивает наших потребностей и вообще наших функций. В известном смысле можно было бы сказать, что восприятие, присущее любой материальной, лишенной сознания точке, при всей своей моментальной ограниченности, бесконечно более обширно и полно, чем наше, так как эта точка получает и передает воздействия всех точек материального мира, тогда как нашего сознания достигают лишь некоторые его части и некоторые стороны. Сознание – при внешнем восприятии – собственно и состоит в таком отборе. Но в неизбежной обедненности нашего сознательного восприятия есть нечто положительное и уже предупреждающее о появлении разума: это "le discerner-ment", в этимологическом смысле этого слова, то есть способность различения,

Вся трудность проблемы, которую мы изучаем, происходит от того, что восприятие представляют себе в виде фотографии вещей, сделанной из определенной точки с помощью специального аппарата органа восприятия, – фотографии, которая запечатлевается в мозговом веществе при помощи неизвестно какого процесса его

химической и психической обработки. Но если в данном случае вообще можно говорить о фотографии, то как же не заметить, что эта фотография, и притом со всех точек пространства, уже снята, уже проявлена внутри самих вещей? Никакая метафизика и даже никакая физика не может избежать этого вывода. Пусть вселенная состоит из атомов: в каждом из них будут ощущаться – и качественно, и количественно по-разному, в зависимости от расстояния – действия всех других атомов материи. Или это будут центры сил: тогда силовые линии, проходящие через все центры во всех направлениях, донесут до каждого из них влияния всего материального мира в целом. Пусть, наконец, универсум состоит из монад: каждая монада, как это утверждал Лейбниц, есть зеркало вселенной. Все, таким образом, согласны между собой Р этом пункте О;ж;п:о ест, « мы возмем какую-ниб\дь ТОЧНА вселенной, то окажется, что действие на нее всей громады материн происходит без сопротивления и без потерь, и что

Роль тела1.81

фотография целого получается здесь прозрачной: позади пластинки недостает темного экрана, на фоне которого могло бы появиться изображение. Наши "зоны индетерминации" некоторым образом и берут на себя роль такого экрана. Они ничего не прибавляют к тому, что есть; они только обеспечивают прохождение реальных действий и удержание действий возможных.

Это не гипотеза. Мы ограничиваемся лишь формулировкой данных, без которых не может обойтись никакая теория восприятия. В самом деле, ни один психолог не сможет приступить к изучению внешнего восприятия, не допустив пэ крайней мере возможность материального мира, то есть, по существу, возможное восприятие всех вещей.

В этой материальной массе, возможность которой мы допустили, выделяется затем особый объект, который я называю своим телом, и в этом теле – перцептивные центры; мне доказывают, что возбуждения, исходящие из какой-либо точки пространства, распространяются вдоль нервных волокон и захватывают нервные центры. Но тут происходит настоящий фокус. Материальный мир, окружающий тело, тело, наделенное мозгом, мозг, в котором мы выделили нервные центры, – все это внезапно отступает на задний план, и вместо этого возникает, словно по мановению волшебной палочки и как нечто совершенно новое, то представление о мире, которое с самого начала было принято нами как данное. Представление это освобождается затем от пространственной принадлежности, чтобы оно не имело уже больше ничего общего с исходной материей; что же касается самой материи, то хотелось бы обойтись вовсе без нее; это, однако, не удается, так как ее феномены обнаруживают между собой настолько строгую и настолько независимую от точки отсчета связь, что эта правильность и эта независимость несомненно представляют собой нечто самостоятельно существующее. Приходится, таким образом, смириться с сохранением призрака материи. При этом, однако, она лишается всех качеств, придающих ей жизненность. В аморфном пространстве выкраиваются движущиеся фигуры, кроме того (что сводится почти к тому же) воображением устанавливаются количественные соотношения, образующие между собой сложные сочетания, функции, эволюционирующие по мере того, как они развивают свое содержание. Теперь наше представление о мире, отягощенное лишь остатками материальности, может свободно развертываться в непротяженном сознании. Но раскрыть недостаточно: нужно еще сшить. Вы оторвали качества вещей от их материального носителя, но теперь придется объяснить, как они объединяются в материальные вещи. Каждый атрибут, который вы отнимаете у материи, увеличивает разрыв между представлением о мире и его объектом. Если вы сделали материю непротяженной, как она может приобрести протяжение? Если вы свели ее к однородному движению, откуда возьмутся качественные различия? И, кроме того, можно ли представить себе связь между вещью и образом, между материей и мыслью, если по определению каждый из этих терминов наделен лишь тем, чего недостает другому?

Таким образом, каждый шаг порождает новые трудности, и каждая попытка рассеять одну из этих трудностей лишь растворяет ее в массе других. Что же мы предлагаем сделать? Только перестать пускаться в ход

182 Образ и реальность

волшебную палочку и продолжать идти той дорогой, на которую вступили с самого начала.

Вы продемонстрировали нам внешние образы, воздействующие на наши органы чувств, нервы, распространяющие свое влияние вплоть до мозга. Идите до конца. Движение пройдет сквозь мозговое вещество, не задерживаясь там, и перейдет в волевой акт. Вот и весь механизм восприятия. Что же касается восприятия самого по себе, как образа, вы не должны описывать его генезис, потому что вы приняли его за исходное и не могли не принять: раз дан мозг, раз дана малейшая частица материи, разве не дана тем самым тотальность образов? Вам следует объяснить, таким образом, не то, как зарождается восприятие, но как оно себя ограничивает, потому что оно должно было бы быть образом всего, а на самом деле сводится к тому, что вас интересует. Но если оно отличается от простого образа, образа как такового именно тем, что его части упорядочиваются по отношению к некоему изменчивому центру, то ограничение это легко понять: не определенное в принципе, восприятие сводится на самом деле к изображению той доли индетерминации, которая предоставлена движениям особого образа, называемого нашим телом. С другой стороны, индетерминация движений тела как результат строения серого вещества мозга дает точную меру протяженности нашего восприятия. Нечего, стало быть, и удивляться, что все происходит так, как будто бынаше восприятие является результатом внутренних движений мозга и как бы исходит из корковых центров. Исходить из них оно не может, потому что мозг – это образ, охваченный, как и всякий образ, массой других образов, и было бы нелепо думать, что содержащее может исходить из содержимого. Но так как строение мозга дает подробный план движений, из которых вы можете выбирать любое, так как, с другой стороны, часть внешних образов, как бы возвращаясь к себе для образования восприятия, рисует как раз все те точки во вселенной, которых эти движения могут достигать, то сознательное восприятие и мозговые изменения строго друг другу соответствуют. Обобщая зависимость этих двух понятий происходит просто от того, что оба они функции третьего – индетерминации воления.

Возьмем, например, светящуюся точку, лучи которой действуют на различные точки сетчатки, в, с. В этой точке наука локализует колебания известной амплитуды и известной длительности. В той же точке сознание воспринимает свет. Мы намерены показать в дальнейшем изложении, что и то и другое правильно, что нет существенной разницы между этим светом и этими движениями, если движению будут приписаны единство, непрерывность и качественная разнородность, которые отрицаются абстрактной механикой, и если эти чувственные качества будут рассматриваться как сокращения, производимые нашей памятью: знание и сознание совпадут тогда в этом мгновенном моменте. Ограничимся пока, не углубляя смысла терминов, утверждением, что точка посылает к сетчатке световые колебания. Что произойдет? Если бы зрительный образ точки не был дан, пришлось бы исследовать, как он образуется, и мы скоро остановились бы перед неразрешимой задачей. Но так или иначе его нельзя не принять изначально: единственным вопросом, стало быть, является, зачем и как этот образ выбран, чтобы стать частью моего восприятия, в то

Роль тела 183

время как бесконечное множество других образов остается из него исключенным. Но я вижу, что эти колебания, переданные от точки различным корпускулам сетчатки, проводятся к подкорковым и корковым оптическим центрам, а также часто и к другим центрам, и что центры эти то передают их двигательным механизмам, то временно задерживают. Стало быть, полученный импульс становится действительным именно благодаря рассматриваемым нервным элементам, которые символизируют индетерминацию воления; эта индетерминация зависит от их целостности, и вследствие этого всякое повреждение этих элементов, уменьшая наше возможное действие, настолько же уменьшит наше восприятие. Другими словами, если в материальном мире существуют точки, где полученные колебания не передаются механически, если существуют, как было сказано, зоны индетерминации* эти зоны должны встречаться именно в ходе того, что называют сенсомоторным процессом; в

в таком случае все должно произойти так, как будто лучи /V/, Ре, Рсбыли восприняты в ходе этого процесса испроецированы затем в Р. Более того, если эта индетерминация ускользает от опыта и вычисления, нельзя сказать того же о нервных элементах, которые получают и передают впечатление. Физиологи и психологи должны, следовательно, заняться этими элементами: по ним будут установлены и с их помощью объяснятся все детали внешнего восприятия. Можно будет, пожалуй, сказать, что раздражение, пройдя через эти элементы и достигнув центра, обращается там в сознательный образ, который затем выявляется в точке Р. Но употреблять такие выражения – значит просто подчиняться требованиям научного метода, а совсем не описывать реальный процесс. На самом деле нет непротяженного образа, который образовался бы в сознании и проецировался затем в точку Р. В действительности точка Р, лучи, ею испускаемые, сетчатка и нервные элементы образуют единое целое, световая точка Р составляет часть этого целого, и именно в Р, а не в каком-то другом месте образуется и воспринимается образ Р.

Представляя вещи в таком виде, мы только возвращаемся к наивному убеждению здравого смысла. Мы все начали с веры, что мы проникаем в сам предмет, что мы воспринимаем его в нем самом, а не в себе. Если психология пренебрегает такой простой, такой близкой к реальному мыслию, это вызвано тем, что внутримозговой процесс, эта минимальная часть восприятия, кажется ей эквивалентом всего восприятия. Уничтожьте воспринимаемый предмет, сохранив этот внутренний процесс, – покажется, что образ предмета остался. Это легко объясняется: существует много состояний, таких, как галлюцинация и сновидение, при которых возникают образы, во всех отношениях сходные с внешним восприятием. Так как в этом случае предмет исчезает, а мозг остается, отсюда заключают, что мозгового процесса достаточно для формирования образа. Но не следует забывать, что во всех психологических состояниях этого рода первостепенную роль играет память. Дальше мы постараемся показать, что если принять восприятие так, как мы его понимаем, то память должна возникнуть, и что реальное и полное условие памяти, равно как и самого восприятия, не сводится к состоянию мозга. Не приступая пока к рассмотрению этих двух пунктов, ограничимся приведением очень простого наблюдения, к тому же

1840 отношение представления к действию

не нового. У многих слепорожденных зрительные центры целы: между тем они живут и умирают, никогда не сформировав зрительного образа. Такой образ может появиться, только если внешний предмет хоть однажды сыграл свою роль: следовательно, он должен, по крайней мере один раз, действительно войти в представление. В настоящее время нам не нужно ничего другого, потому что нас интересует пока только чистое восприятие, а не восприятие, дополненное памятью. Вычтите вклад памяти, возьмите восприятие как бы в необработанном виде, и вам придется признать, что без предмета нет образа. Но как только вы присоединяете к внутримозговому процессам внешний предмет, составляющий их причину, ясно, что образ этого предмета дан вместе с ним и в нем самом, но совсем не ясно, как может он возникнуть из мозговых процессов.

Когда повреждение нервов или нервных центров прерывает путь нервного импульса, восприятие соответственно уменьшается. Надо ли этому удивляться? Роль нервной системы в том, чтобы использовать этот импульс, чтобы обратить его в практические поступки, реально или виртуально выполненные. Если возбуждение по той или другой причине больше не проходит, было бы странно, если бы соответствующее восприятие все же происходило, так как это восприятие установило бы тогда связь нашего тела с точками пространства, которые уже не требуют от него непосредственного выбора. Перережьте зрительный нерв у животного: возбуждение, исходящее из световой точки, не передается более мозгу и оттуда двигательным нервам, нить, связывавшая внешний предмет с двигательными механизмами животного, включая зрительный нерв, порвана, зрительное восприятие стало бессильным и в этом бессилии как раз и состоит бессознательность. То, что материя может быть воспринята без помощи нервной системы, без органов чувств, теоретически мыслимо, но это невозможно практически, потому что подобное восприятие ни для чего не нужно. Оно было бы свойственно призраку, а не живому, то есть действующему существу. Живое тело представляет как государство в государстве, а нервную систему – как особое существо, "функция которого состоит

в выработке восприятия и затем в порождении движения. На самом же деле моя нервная система, располагаясь между предметами, приводящими в возбуждение мое тело, и предметами, на которые я могу влиять, играет роль простого проводника: она передает, распределяет и задерживает движение. Этот проводник состоит из огромного множества нитей, натянутых от периферии к центру и от центра к периферии. Сколько нитей идет от периферии к центру, столько же существует точек в пространстве, способных возбуждать мою волю и, так сказать, задавать элементарный вопрос моей двигательной активности: каждый поставленный вопрос и есть собственно то, что называется восприятием. Восприятие лишается одного из своих элементов всякий раз, когда бывает перерезана одна из так называемых чувствительных нитей, потому что в этом случае какой-нибудь аспект внешнего предмета оказывается неспособным вызывать эту активность, а также всегда, когда приобретена устойчивая привычка, потому что в этом случае готовый ответ делает вопрос бесполезным. И в том, и в другом случае исчезает кажущееся проецирование образа, от которого он

Роль тела

исходит, или скорее, то вычленение и различение, которое извлекает восприятие из образа. Можно, следовательно, сказать, что особенности восприятия точно соответствуют особенностям так называемых чувствительных нервов, но что настоящий смысл восприятия в целом заключается в тенденции тела к движению.

В этом вопросе иллюзия возникает, как правило, от кажущейся индифферентности наших движений к вызывающему их возбуждению. Кажется, будто движение моего тела для достижения или изменения какого-нибудь предмета будет одинаковым, показывает ли мне существование этого предмета слух, зрение или осязание. Моя двигательная деятельность превращается тогда в отдельную сущность, своего рода резервуар, из которого движение выходит произвольно, всегда одно и то же для одного и того же действия, каков бы ни был род образа, побуждающего к его осуществлению. Но на самом деле характер движений, с внешней стороны тождественный, внутренне изменяется, смотря по тому, отвечают ли они на зрительное, на осязательное или на слуховое впечатление. Я вижу в пространстве множество предметов; каждый из них будучи видимой формой, вызывает мою активность. Я внезапно теряю зрение. Несомненно, я располагаю тем же количеством и тем же качеством движений в пространстве, но движения эти не могут уже быть координированы со зрительными впечатлениями: они принуждены будут отныне следовать, например, за осязательными впечатлениями, и в мозгу, без сомнения, возникнет набросок нового расположения; протоплазматические отростки двигательных нервных элементов в корковом слое будут находиться теперь в соотношении с гораздо меньшим числом сенсорных нервных элементов. Активность моя, следовательно, в действительности уменьшена в том смысле, что если я и могу производить те же движения, то предметы дают мне к этому меньше поводов. И следовательно, основным и глубоким последствием внезапного прекращения оптической проводимости является уничтожение части побуждений к моей активности: между тем это побуждение, как мы видели, и есть само восприятие. Здесь мы вплотную подходим к ошибке тех, которые считают, что восприятие зарождается из самого сенсорного импульса, а не из запроса к нашей двигательной активности. Они отделяют эту двигательную активность от процесса восприятия, и так как кажется, что она сохраняется при уничтожении восприятия, они заключают, что восприятие локализовано в так называемых сенсорных нервных элементах. Но на самом деле оно не заключено ни в сенсорных, ни в двигательных центрах; оно соответствует многообразию их отношений и существует там, где это многообразие появляется.

Психологи, изучавшие раннее детство, знают, что представление наше вначале безлично. Только мало-помалу, благодаря индукции, оно принимает наше тело за центр и становится нашим представлением. Механизм этого процесса понять легко. По мере того, как тело мое передвигается в пространстве, все другие образы изменяются; образ же моего тела, наоборот, остается неизменным. Мне приходится в итоге сделать его центром, к которому я отношу все другие образы. Моя вера во внешний мир не происходит и не может происходить из того, что я проецирую вне себя непротяженные ощущения: как могут эти ощущения приобрести протяженность, и откуда могу я получить понятие о

186. Образ и реальность

внешнем? Но если принять, как свидетельствует Лопыт, что совокупность образов дана изначально, то я отлично понимаю, как и почему мое тело в конце концов займет в этой совокупности привилегированное положение. Я понимаю также, как зарождается понятие о внутреннем и о внешнем, которое сперва представляет собой только различие моего тела и остальных тел. В самом деле, возьмите свое тело за исходную точку, что обыкновенно и делают: вы никогда не сможете понять, как впечатления, полученные на поверхности вашего тела и касающиеся только этого тела, становятся для вас независимыми предметами и образуют внешний мир. Наоборот, возьмите образы вообще, — и ваше тело непременно выделится среди них как нечто особое, потому что образы неперестанно изменяются, а оно остается неизменным. Так различие внутреннего и внешнего сведется к различию части и целого. С самого начала дана совокупность образов; в этой совокупности есть "центры действия", в которых как бы отражаются интересующие нас образы; так рождаются восприятия и подготавливаются действия. Мое тело — это то, что вырисовывается в центре этих восприятий; моя личность — существо, к которому следует относить эти действия. Все становится ясно, если идти этим путем — от периферии представления к центру, как это делает ребенок и как нам указывает непосредственный опыт и здравый смысл. Наоборот, все затемняется и проблемы умножаются, если мы вслед за распространенными теориями пойдем от центра к периферии. Откуда возникает идея о внешнем мире, искусственно построенном частью за частью при помощи непротяженных ощущений? Как они могут образовывать протяженную поверхность? Как могут они затем проецироваться из нашего тела вовне? Зачем нужно, чтобы я шел, вопреки всей очевидности, от моего сознательного к моему телу, затем от моего тела к другим телам, если в действительности я сразу располагаюсь в материальном мире вообще, чтобы потом постепенно отграничить тот центр действия, который будет назван моим телом, и отличить его таким путем от всех других тел? В этой вере в первоначальную непротяженность нашего внешнего восприятия соединено столько иллюзий, в мысли, что мы проецируем вне нас чисто внутреннее состояние, столько недоразумений, столько ошибочных ответов на плохо поставленные вопросы, что мы и не надеемся сразу пролить на все это свет. Мы полагаем, что он прольется мало-помалу, по мере того, как мы яснее покажем за этими иллюзиями метафизическое смешение нераздельной протяженности и однородного пространства, психологическое смешение "чистого восприятия" и памяти. Но все это имеет еще и соотношение с реальными фактами, на которые мы можем указать сейчас же, чтобы внести поправку в их объяснение.

Первый из этих фактов состоит в необходимости воспитания или образования наших чувств. Ни зрение, ни осязание не могут сразу локализовать свои впечатления. Необходим целый ряд сближений и индукций, при помощи которых мы постепенно координируем наши впечатления между собой. Отсюда совершается скачок к идее ощущений, непротяженных по существу, которые, присоединяясь одно к другому, образуют протяжение. Но кто же не видит, что и в гипотезе, которую мы приняли, наши чувства все же нуждаются в образовании, — не для того, конечно, чтобы согласоваться с вещами, а для того, чтобы

Роль тела 187

согласоваться между собой? Среди всех образов есть образ, который я называю своим телом; виртуальное действие его выражается в кажущемся отражении им окружающих образов обратно, на самих себя. Сколько возможных действий существует для моего тела, столько же имеет место различных систем отражения других тел, и каждая из этих систем будет соответствовать одному из моих чувств. Мое тело является, стало быть, как бы образом, отражающим другие образы и анализирующим их с точки зрения различных воздействий на эти образы. И вследствие этого каждое из качеств, воспринятых разными моими чувствами в одном и том же предмете, символизирует некоторое направление моей деятельности, некоторую потребность. Дает ли соединение всех этих восприятий данного тела разными органами чувств полный образ этого тела? Без сомнения, нет, поскольку они были выборочно вычленены из этого полного образа. Воспринимать все влияния, ото всех точек всех

тел, значило бы опуститься до состояния материального предмета. Воспринимать сознательно – значит выбирать, и сознание состоит прежде всего в этом практическом различении. Различные восприятия одного и того же предмета, даваемые различными органами чувств, не восстановят, следовательно, полного образа предмета: между ними будут интервалы, некоторым образом соразмерные пробелам в моих потребностях: образование чувств необходимо именно для заполнения этих интервалов. Это образование имеет целью гармонизировать мои чувства, восстановить между их данными непрерывность, которая была нарушена прерывностью потребностей моего тела, наконец, приблизительно восстановить материальный предмет в целом. Так объясняется, при нашей гипотезе, необходимость образования чувств. Сравним это объяснение с предыдущим. В первом объяснении непротяженные ощущения времени соединяются с непротяженными ощущениями осязания и других чувств, и их синтез образует идею материального предмета. Но прежде всего непонятно, как эти ощущения могут приобрести протяженность, и – если допустить, что протяженность в принципе будет обретена, – особенно непонятным становится фактическое предпочтение тем или иным из этих ощущений той или иной точки пространства. Кроме того, можно спросить себя, каким счастливым сочетанием, в силу какой предустановленной гармонии эти ощущения различных видов будут координироваться между собой, чтобы образовать устойчивый, прочный предмет, присутствующий и в моем опыте, и в опыте всех других людей, подчиненный, наряду с другими предметами, тем непреложным правилам, которые называются законами природы. Во втором объяснении, наоборот, "данные наших различных органов чувств" – это качества вещей, воспринятые изначально скорее в них, чем в нас: что удивительного в их соединении, если разъединяются они только в абстракции? В первой гипотезе материальный предмет не соответствует ничему из того, что мы непосредственно воспринимаем: с одной стороны, располагается сознающее начало с чувственными качествами, с другой стороны – материя, о которой ничего нельзя сказать и которая определяется через отрицания, так как ее с самого начала лишили всего, в чем она проявляется. При второй гипотезе возможно все более и более углубленное знание материи. Нам не только не приходится отбрасывать что-либо из воспринятого, но, наоборот, мы долж-

188 Образ и аффективное ощущение

)_

ны сближать все чувственные качества, находить в них родство, восстанавливать их непрерывность, нарушенную нашими потребностями. Наше восприятие материи в этом случае уже не относительно и не субъективно, по крайней мере, в принципе и абстрагируясь, как мы увидим дальше, от действия аффектов и особенно памяти; оно просто расчленено многообразностью наших потребностей. – В первой гипотезе дух также непознаваем, как и материя, так как ему приписывается неопределимая способность вызывать ощущения – неизвестно откуда – и проецировать их – неизвестно зачем – в пространство, где они образуют тела. Во второй гипотезе роль сознания определена ясно: сознание означает возможное действие, и формы, приобретенные духом, те из них, которые заслоняют для нас его сущность, должны быть устранены при свете этого второго принципа. Таким образом, при нашей гипотезе предвидится возможность яснее различить дух и материю и затем сблизить их. Но оставим в стороне этот первый пункт и перейдем ко второму.

Второй факт, на который можно было бы сослаться, – это то, что долгое время называлось "специфической энергией нервов". Известно, что раздражение оптического нерва внешним воздействием или электрическим током даст зрительное ощущение, что тот же электрический ток, проходя через акустический или язычно-глочный нерв, заставит услышать звук или произведет вкусовое ощущение. От этих весьма частных фактов переходят к двум достаточно общим законам, согласно которым различные причины, действуя на один и тот же нерв, производят одинаковые ощущения, а одна и та же причина, действуя на различные нервы, вызывает различные ощущения. А исходя из этих законов, заключают, что ощущения наши – просто сигналы, что роль каждого из органов чувств состоит лишь в том, чтобы переводить на свой собственный язык однородные и механические движения, совершающиеся в пространстве. Отсюда, наконец, возникает идея расчленить наше восприятие на две части, после этого уже не способные к воссоединению: с одной стороны, однородные движения в пространстве, с другой – непротяженные ощущения в

сознании. Нам нет необходимости входить в изучение физиологических проблем, возникающих в связи с истолкованием этих двух законов: как бы эти законы ни понимались, будем ли мы приписывать специфическую энергию нервам, или будем относить ее к нервным центрам, мы в любом случае натолкнемся на непреодолимые трудности.

Но сами эти законы становятся все более и более проблематичными. Уже Лотце подозревал, что они неверны. Чтобы в них поверить, как он считал, следует ожидать, "что звуковые волны дадут глазу ощущение света или что световые колебания заставят ухо услышать звук". Верно же то, что все приводимые факты, по-видимому, сводятся к одному типу: один и тот же возбудитель, способный производить различные ощущения, многочисленные возбудители, способные породить одно и то же ощущение, – это или электрический ток, или механическая причина, могущая вызвать в органе изменение электрического равновесия. Но тогда можно спросить, не содержит ли электрическое возбуж-

Loize, Métaphysique, p. 512etsuiv.

Роль тела189

дение различные составные элементы, отвечающие объективно разного рода ощущениям, и не сводится ли роль каждого чувства к простому извлечению из целого одной составной части, представляющей для этого чувства интерес: и тогда, конечно, одни и те же возбуждения давали бы одинаковые ощущения, а различные возбуждения ощущались бы по-разному. Точнее говоря, трудно предположить, чтобы электризация языка, например, не вызвала химических изменений, но ведь эти изменения мы и называем вкусовыми ощущениями. С другой стороны, если физик смог отождествить свет с электромагнитным вихревым потоком, можно, наоборот, сказать, что то, что он называет электромагнитным вихревым потоком, и есть свет, так что зрительный нерв действительно объективно воспринимает свет при электризации. Ни для одного органа чувств доктрина специфической энергии не была, казалось, прочнее установлена, чем для слуха, и нигде реальное существование воспринимаемой вещи не оказалось более достоверным. Мы не будем настаивать на этих фактах, потому что их изложение и обстоятельное обсуждение можно найти в одной из недавних изданных работ. Ограничимся замечанием, что ощущения, о которых идет речь, – это не образы, воспринятые нами вне нашего тела, но скорее чувства, локализованные в самом нашем теле. Между тем, из природы и назначения нашего тела вытекает, как мы вскоре увидим, что каждый из его так называемых чувствительных элементов имеет свое собственное реальное действие (которое должно быть того же рода, что и его виртуальное действие) на внешние предметы, обычно им воспринимаемые, так что становится понятно, почему всякий чувствительный нерв оказывается вибрирующим соответственно определенному виду ощущения. Но чтобы выяснить этот пункт, следует углубиться в сущность аффективного ощущения. Этим самым мы переходим к третьему и последнему аргументу, который мы хотели разобрать.

Этот третий аргумент основывается на неуловимом характере ступеней перехода от пространственных представлений к чувственному состоянию, кажущемуся непротяженным. Из этого делается заключение

О естественной и необходимой непротяженности всякого ощущения: протяжение в этом случае прибавляется к ощущению, и процесс восприятия трактуется как вынесение вовне внутренних состояний. На самом деле психолог исходит из своего тела, и так как впечатления, получаемые на периферии этого тела, кажутся ему достаточными для восстановления всего материального мира, он сначала сводит вселенную к своему телу. Но это первое положение легко опровержимо: его тело не имеет и не может иметь ни большей, ни меньшей реальности, чем все остальные тела. Надо, следовательно, идти дальше, применить принцип до конца и, сжав вселенную до поверхности живого тела, сжать само это тело до единого центра, который в конце концов придется признать лишенным протяжения. Тогда из этого центра мы будем выводить непротяженные ощущения, которые затем, так сказать, раздуются, вырастут и позволят получить сперва наше протяженное тело, а потом все остальные материальные предметы. Но это странное предположение было бы невозможно, если бы

Schwarz, Dos Wahrnehmungsproblem, Leipzig, 1892, p. 313 etsuiv.

190 Природа аффективной ошущения

ми и непротяженными идеями не существовало ряда промежуточных, более или менее смутно локализованных чувственных (аффективных) состояний. Наш разум, впадая в привычную ему иллюзию, формулирует дилемму: всякая вещь или протяженна, или непротяженна; и так как аффективное состояние не имеет отчетливой протяженности и смутно и неточно локализовано, то он заключает, что состояние это абсолютно непротяженно. Но в таком случае последовательные степени протяженности и сама по себе протяженность должны объясняться каким-то, не знаю каким, приобретенным свойством непротяженных состояний, а история восприятия должна стать историей внутренних и непротяженных состояний, которые приобретают протяженность и проецируются вовне. Если угодно сформулировать этот аргумент в другой форме, можно сказать, что нет такого восприятия, которое не могло бы, через усиление действия своего объекта на наше тело, стать аффективным ошущением и, в частности, болью. Так, например, незаметно происходит переход от прикосновения булавки к уколу. Наоборот, уменьшающаяся боль мало-помалу совпадает с восприятием ее причины и, так сказать, экстериоризируется в представление. Из этого, по-видимому, ясно, что между аффективным чувством и восприятием существует различие лишь в степени, а не по существу. Между тем первое тесно связано с моим личным существованием: в самом деле, что станет с болью, отделенной от субъекта, ее испытывающего? Кажется, что так же должно обстоять дело и со вторым: внешнее восприятие, вроде бы, должно получаться через проецирование аффективного чувства, ставшего безобидным, в пространство. И реалисты, и идеалисты согласны с такого рода рассуждениями. Идеалисты не видят в материальной вселенной ничего, кроме синтеза субъективных и непротяженных состояний, реалисты прибавляют, что за этим синтезом стоит независимая реальность, которая ему соответствует, но и те и другие, исходя из постепенного перехода от чувства к представлению, заключают, что представление о материальной вселенной относительно, субъективно и что оно, так сказать, произошло из нас, а не мы сначала выделили себя из него.

Прежде чем приступить к критике этого спорного толкования точного факта, покажем, что оно не только не объясняет, но даже несколько не проясняет ни природы боли, ни природы восприятия. Трудно понять, каким образом чувственные состояния, существенно связанные с личностью, исчезающие, если я исчезаю, могут приобрести протяженность, занять определенное место в пространстве, стать устойчивым фактом опыта, постоянно согласным с самим собой и с опытом других людей, просто вследствие уменьшения своей интенсивности. Как бы то ни было, приходится в той или другой форме признать за ошущениями сперва протяженность, а затем независимость, без которых намеревались обойтись. Но с другой стороны, аффективное чувство при этой гипотезе так же неясно, как и представление. Если непонятно, почему чувства, уменьшаясь в интенсивности, становятся представлениями, то так же непонятно, почему одно и то же явление, данное сперва как восприятие, из-за усиления интенсивности становится аффективным чувством. В боли есть нечто положительное и активное, чего не объяснишь, сказав вместе с некоторыми философами, что она состоит из

Роль тела 191

смутного представления. Но не в этом главная трудность. Бесспорно, что постепенное усиление возбудителя превращается наконец в восприятие боли. Верно, тем не менее, что превращение это наступает, начиная с определенного момента: почему же именно с этого момента, а не с другого? И какова особая причина того, что явление, которое я сперва просто наблюдал, вдруг приобретает для меня жизненный интерес? Стало быть, при этой гипотезе, непонятно, ни почему в определенный момент ослабление интенсивности явления сообщает ему право на протяженность и на видимую независимость, ни почему усиление интенсивности создает именно в данный, а не в другой момент новое свойство, источник

Вернемся теперь к нашей гипотезе и покажем, как в определенный момент аффективное ощущение должно возникнуть из образа. Мы поймем также, как совершается переход от восприятия, имеющего протяжение, к аффективному ощущению, которое считается непротяженным. Но предварительно следует сделать несколько замечаний о реальном значении боли.

Когда постороннее тело прикасается к одному из отростков амебы, этот отросток сокращается; следовательно, любая часть протоплазматической массы одинаково способна получать возбуждение и реагировать на него; здесь восприятие и движение сливаются в одно свойство – сократимость. Но по мере того, как организм усложняется, его работа разделяется, функции дифференцируются и анатомические органы, приобретая определенное устройство, лишаются своей независимости. В организме, подобном нашему, так называемые чувствительные волокна предназначены исключительно для передачи возбуждений к центральной области, откуда импульс передается двигательным элементам. По-видимому, волокна эти лишились индивидуальной функции, чтобы принять участие, в качестве передовых сторожей, в действиях всего тела. Тем не менее они и в отдельности подвержены тем же разрушительным влияниям, которые грозят организму в целом. Организм при этом обладает способностью передвигаться для избежания опасности или для восполнения того, чего ему недостает, тогда как чувствительный элемент сохраняет относительную неподвижность, на которую обречен внутренним разделением труда. Так возникает боль, которая, по нашему мнению, представляет собой не что иное, как усилие поврежденного элемента восстановить прежний порядок вещей, своего рода двигательную тенденцию в чувствительном нерве. Всякая боль, следовательно, должна состоять в усилии – усилии, не приводящем к действию. Это локальное усилие и такая изоляция усилия и есть причина его бездейственности, потому что организм, в силу солидарности своих частей, способен уже только к целостным действиям. Также вследствие того, что это усилие локальное, боль совершенно не пропорциональна опасности, грозящей живому организму: опасность может быть смертельной, а боль может быть невыносимой (как зубная боль), а опасность незначительной. Следовательно, есть, должен быть точно определенный момент, когда наступает боль, – момент, когда затронутая часть организма вместо того, чтобы принимать возбуждение, его отторгает. Таким образом, различие между восприятием и чувством не только в степени, они различны по существу.

192 Природа аффективного ощущения

Мы рассматривали живое тело как своего рода центр, из которого на окружающие предметы отражается оказываемое ими действие: в этом отражении состоит внешнее восприятие. Но центр этот не математическая точка: это тело, подверженное, как все тела в природе, действию внешних причин, грозящих ему разрушением. Мы видели, что оно сопротивляется влиянию этих причин. Оно не ограничивается отражением внешнего действия, оно борется и таким образом вбирает в себя, поглощает нечто из этого действия. В этом источник аффективного чувства. Можно было бы сказать, прибегнув к метафоре, что если восприятие соответствует способности тела к отражению, аффективные чувства соответствуют его способности к поглощению.

Но это не более, чем метафора. Следует изучить вещи ближе и ясно понять, что необходимость аффективного чувства вытекает из самого существования восприятия. Восприятие, как мы его понимаем, показывает наше возможное действие на вещи и тем самым также и возможное действие вещей на нас. Чем шире способность тела к действию (она символизируется усложнением нервной системы), тем обширнее поле, охватываемое восприятием. Расстояние, отделяющее наше тело от воспринимаемого предмета, таким образом, действительно показывает большее или меньшее приближение опасности, большую или меньшую близость исполнения желаемого. Вследствие этого наше восприятие предмета, отличного от нашего тела, отделенного от него промежуток, никогда не выражает ничего, кроме виртуального действия. Но чем меньше становится расстояние между этим предметом и нашим телом, другими словами, чем опасность становится страшнее или обещание непосредственнее, тем более виртуальное действие стремится превратиться в действие реальное. Дойдите

теперь до последнего предела, предположите, что расстояния уже нет, то есть что воспринимаемый предмет совпадает с нашим телом, другими словами, что наше собственное тело становится предметом восприятия. Тогда это совершенно особого рода восприятие оудет выражать уже не виртуальное, а реальное действие: именно в этом и состоит аффективное чувство. Наши аффективные чувства, следовательно, относятся к нашим восприятиям, как реальное действие нашего тела к его возможному, или виртуальному действию. Его виртуальное действие касается других предметов и вырисовывается в среде этих предметов; его реальное действие касается его самого и вследствие этого прочерчивается в нем самом. В конце концов все происходит так, как будто путем действительного возврата реальных или виртуальных действий к точкам их приложения или исхода внешние образы оказываются отраженными нашим телом в окружающее его пространство, а реальные действия задержанными им внутри его субстанции. А поэтому его поверхность, общая граница внешнего и внутреннего, образует единственную часть протяжения, которая одновременно и воспринимается, и чувствуется.

А это вновь означает, что мое восприятие находится вне моего тела, а мое аффективное чувство, наоборот, в моем теле. Точно так же, как внешние предметы воспринимаются мною там, где они находятся, в них самих, а не во мне, мои чувственные состояния испытываются там, где они возникают, то есть в определенной точке моего тела. Рассмотрите систему образов, которая называется материальным миром. Мое тело

Роль тела¹⁹³

– один из этих образов. Вокруг этого образа располагаются представления, то есть возможные влияния этого образа на другие образы. В нем возникает аффективное чувство, то есть его действительное усилие над самим собой. Такова, в сущности, та разница, которую каждый из нас естественно и непосредственно устанавливает между образом и ощущением. Когда мы говорим, что образ существует вне нас, мы подразумеваем, что он пребывает вне нашего тела. Когда мы говорим об ощущении как о внутреннем состоянии, мы хотим этим сказать, что оно возникает в границах нашего тела. Вот почему мы утверждаем, что совокупность воспринимаемых образов остается, даже если наше тело исчезнет, между тем как мы не можем уничтожить наше тело, не уничтожая наших ощущений.

Благодаря этому, мы усматриваем необходимость первой поправки к нашей теории чистого восприятия. Мы рассуждали так, как будто наше восприятие содержит в себе часть образов, отделенную, как часть, от их субстанции, как будто, выражая виртуальное действие предмета на наше тело и нашего тела на предмет, оно ограничивается отделением интересующего нас аспекта предмета от предмета в целом. Но следует принимать во внимание, что наше тело – не математическая точка в пространстве, что его виртуальные действия дополняются и насыщаются реальными действиями, или, другими словами, что нет восприятия без аффективного чувства. Чувство, аффект, стало быть, есть то, что мы примешиваем из внутреннего движения нашего тела к образу внешних тел; это то, что надлежит прежде всего исключить из восприятия, чтобы восстановить образ в чистом виде. Но психолог, закрывающий глаза на основное различие, на различие функций восприятия и чувства (последнее содержит реальное действие, первое – действие только возможное), находит между ними разницу лишь в степени. На основании того, что аффективное чувство неясно локализовано (из-за неопределенности скрытого в нем усилия), он объявляет его непротяженным и вообще считает ощущение простым элементом, из которого путем сложения мы получаем внешние образы. Но дело в том, что аффективное чувство – это не первичный материал, из которого возникает восприятие, это, скорее, своего рода примесь к восприятию.

Здесь мы замечаем корень ошибки, которая заставляет психолога рассматривать ощущение как не имеющее протяжения, а восприятие как агрегат ощущений. Эта ошибка постепенно усиливается, как мы увидим, доводами, почерпнутыми из ложной концепции роли пространства и природы протяжения. Но кроме того, она имеет под собой неверно истолкованные факты, которые теперь нам предстоит рассмотреть.

Прежде всего, локализация чувственного ощущения в определенной части тела требует, по-видимому, настоящего обучения. Проходит некоторое время, прежде чем ребенок обучится дотрагиваться пальцем до той самой точки кожи, где его укололи. Факт этот не подлежит сомнению, но из него можно только заключить, что необходимо несколько попыток, чтобы координировать болевые впечатления уколото́й кожи с впечатлениями мышечного чувства, управляющего движениями руки. Наши внутренние чувства, подобно нашим внешним восприятиям, подразделяются на различные группы. Эти группы, как и группы восприя-

7 Зак. № 388

194 Естественная протяженность образов

тий, отделены интервалами, обучение заполняет эти интервалы. Из этого несколько не следует, что каждая разновидность аффективного чувства не имеет своего рода непосредственной локализации, не обладает некоей локальной окраской. Сделаем еще один шаг: если чувство сразу не имеет этой присущей ему особой окраски, оно не получит ее никогда. Обучение может только присоединить к наличному аффективному ощущению идею возможного зрительного или осязательного восприятия, так что определенное аффективное чувство будет вызывать образ зрительного или осязательного восприятия, определенный в той же мере, что и это чувство. Необходимо, стало быть, чтобы в самом этом чувстве было нечто, что отличило бы его от других чувств того же рода и что позволило бы отнести его к данному возможному образу зрения или осязания скорее, чем ко всякому другому. Но не утверждаем ли мы тем самым, что чувство с самого начала обладает некоторой определенностью в пространстве?

Приводят также, в качестве подтверждения обратного, факты ошибочных локализаций, иллюзии, возникающие у ампутированных (их следовало бы подвергнуть новому исследованию). Но из этого можно заключить лишь, что однажды полученное обучение сохраняется и что данные памяти, более полезные в практической жизни, вытесняют данные непосредственного сознания. Ради практического действия нам необходимо переводить наше аффективное переживание на язык возможных данных зрения, осязания и мышечного чувства. Когда этот перевод уже сделан, оригинал бледнеет, но перевод не был бы возможен, если бы не было заранее данного оригинала и если бы аффективное ощущение с самого начала не было локализовано – без посторонней помощи и присущим ему образом.

Психолог с большим трудом принимает эту идею здравого смысла. Ему кажется, что как восприятие могло бы находиться в воспринимаемых вещах только в том случае, если бы сами эти вещи обладали восприятием, точно так же ощущение могло бы быть в нерве, только если бы нерв мог чувствовать: между тем очевидно, что нерв не чувствует. Тогда ощущение берется в той точке, где его локализует здравый смысл, извлекается оттуда, приближается к мозгу, от которого оно кажется зависимым еще больше, чем от нерва, и в конце концов полностью переносится в мозг. Но очень скоро оказывается, что если оно не находится в той точке, в которой, по-видимому, возникает, оно тем более не может находиться и в каком-либо другом месте; если его нет в нерве, ощущения не будет и в мозге, так как для того, чтобы объяснить его проекцию от центра к периферии, необходимо допустить некую силу, которую приходится приписать какому-то более или менее активному сознанию. Приходится, следовательно, идти еще дальше и, заставив все ощущения сосредоточиться в мозговом центре, потом одновременно освободить их и от принадлежности мозгу, и от принадлежности пространству. И тогда останется представить себе ощущения, совершенно лишённые протяженности, а с другой стороны, пустое пространство, безразличное к ощущениям, которые будут в него проецироваться, – чтобы потом исчерпать все силы, всячески пытаюсь объяснить, как эти непротяженные ощущения обретают протяженность и выбирают для своей локализации те или иные точки пространства. Но учение это

Роль тела 195

не только неспособно ясно показать, каким образом непротяженное приобретает протяженность: в нем так же необъяснимы и аффективное чувство, и протяженность, и представление. Оно вынуждено трактовать аффективные состояния как абсолюты, которые неизвестно почему появляются и исчезают в сознании в тот или иной момент. Переход от чувства к представлению остается тоже окутанным непроницаемой тайной, ибо, повторяем, во внутренних, простых и непротяженных состояниях нельзя найти причины, в силу которой они должны предпочесть и принять тот или иной определенный порядок в пространстве. Наконец и само представление надо будет принять как абсолют: непонятны ни его происхождение, ни его назначение.

Наоборот, все проясняется, если исходить из самого представления, то есть из совокупности воспринятых образов. Мое восприятие в чистом виде, отделенное от памяти, не направляется от моего тела к другим телам: первоначально оно пребывает в совокупности тел, потом мало-помалу ограничивается и принимает мое тело за центр. И его непосредственно приводит к этому опыт, — обнаруживающий двойную способность этого тела — совершать действия и испытывать аффекты, одним словом, опыт сенсомоторной способности одного определенного образа, занимающего привилегированное положение среди всех образов. В самом деле, с одной стороны, этот образ всегда занимает центр представления, так что другие образы располагаются вокруг него именно в том порядке, в котором могут подвергаться его действию; с другой стороны, посредством так называемых аффективных ощущений я воспринимаю его внутреннее состояние, а не одну только поверхностную оболочку, как в других образах. В совокупности образов существует, следовательно, исключительный образ, воспринимаемый в его глубинах, а не только на поверхности, местопребывание аффекта и в то же время источник действия: этот особенный образ я принимаю за центр моей вселенной и за физическую основу моей личности.

Прежде чем идти дальше и установить точное соотношение между личностью и образами, среди которых она располагается, резюмируем вкратце обрисованную нами теорию "чистого восприятия", сопоставляя ее с анализами обычной психологии.

Для упрощения изложения мы обратимся к зрительному восприятию, уже взятому нами как пример. Обычно берутся элементарные ощущения, соответствующие впечатлениям, получаемым посредством конуса и палочек сетчатки. Из этих ощущений пытаются восстановить зрительное восприятие. Но прежде всего, сетчатка не одна — их две. Стало быть надо объяснить, как два ощущения, предполагающиеся отдельными, сливаются в единое восприятие, которое соответствует тому, что мы называем точкой в пространстве.

Предположим, что этот вопрос решен. Ощущения, о которых идет речь, непротяженны. Как они приобретают протяженность? Будем ли мы рассматривать протяженность как рамку, готовую к получению ощущений, или как результат одновременности ощущений, сосуществующих в сознании, но не сливающихся между собой, — и в том, и в другом случае, в чем не отдают себе отчета, с протяженностью вводится нечто новое, и процесс, посредством которого ощущение получает про-

196Естественная протяженность образов

тяженность и выбор каждым элементарным ощущением определенной точки пространства, остается необъясненным.

Оставим это затруднение в стороне. Пусть зрительная протяженность образована. Как она в свою очередь сочетается с осязаемой протяженностью? Все, наличие чего мое зрение констатирует в пространстве, подтверждается моим осязанием. Допустим, что предметы образуются именно совместным действием зрения и осязания и что совпадение этих двух чувств в восприятии объясняется тем фактом, что воспринятый предмет представляет собой их общий результат. Но мы не сможем признать наличие чего бы то ни было общего, с точки зрения качества, между элементарным

зрительным ощущением и осязательным ощущением, так как они принадлежат к совершенно различным родам ощущений. Соответствие между зрительной протяженностью и протяженностью осязаемой можно объяснить только параллелизмом между порядком зрительных ощущений и порядком осязательных. Мы вынуждены, стало быть, предположить, кроме зрительных ощущений и кроме осязательных ощущений, какой-то общий им порядок, который, следовательно, должен быть независимым и от тех, и от других. Пойдем еще дальше: этот порядок независим от нашего индивидуального восприятия, так как он представляется одинаковым всем людям и составляет материальный мир, где следствия связаны с причинами, где явления подчиняются законам. Мы приходим в итоге к гипотезе объективного и независимого от нас порядка, то есть материального мира, отличного от ощущения.

По мере того, как мы шли вперед, мы умножили число выводимых данных и усложнили довольно простую гипотезу, из которой исходили. Но выиграли ли мы что-нибудь? Если материя, к которой мы приходим, необходима для понимания удивительного согласования ощущений между собой, то о ней мы ничего не знаем, потому что мы должны ей отказать во всех обнаруженных ею качествах, во всех ощущениях, оставив за ней только объяснение их соответствия. Эта материя, стало быть, не может быть ничем из того, что мы знаем, и ничем из того, что мы воображаем. Она остается загадочной сущностью.

Но наша собственная природа, роль и назначение нашей личности также остаются покрытыми тайной. Действительно, откуда исходят, как рождаются, чему должны служить эти элементарные непротяженные ощущения, разворачивающиеся в пространстве? Их надо принять как абсолюты, ни происхождения, ни цели которых мы не видим. А если бы потребовалось различить в каждом из нас дух и тело, мы ничего не смогли бы узнать ни о теле, ни о духе, ни об их соотношении.

В чем же состоит наша гипотеза, и в каком именно пункте она расходится с только что изложенной? Вместо того, чтобы исходить из аффективного чувства, о котором ничего нельзя сказать, так как для него нет никакого рационального основания быть именно таким, а не каким-либо другим, мы исходим из действия, то есть из присущей нам способности производить изменения в вещах, способности, о которой свидетельствует сознание и на которую, по-видимому, направлены все силы наделенного органами живого тела. Мы, следовательно, сразу оказываемся среди совокупности протяженных образов, и в этой материальной вселенной мы обращаем внимание на центры индетерминации, харак-

Роль тела¹⁹⁷

теризующие жизнь. Чтобы из этих центров могли излучаться действия, надо, чтобы движения или влияния других образов были частично восприняты и другой своей частью использованы. Живая материя, даже в своей простейшей форме и в однородном состоянии, уже выполняет эту функцию, питаясь и восстанавливая себя. Прогресс этой материи состоит в распределении этой двойной работы между двумя категориями органов, из которых первые, органы питания, предназначены для поддержания вторых: эти же последние созданы для того, чтобы действовать. Простейший их тип представляет собой цепь нервных элементов, соединяющую две крайние точки, одна из которых получает внешние впечатления, а другая совершает движения. Так, возвращаясь к примеру зрительного восприятия, роль конусов и палочек сетчатки состоит просто в получении возбуждений, которые затем перерабатываются в движения – осуществленные или зарождающиеся. Никакое восприятие в итоге отсюда получиться не может, и нигде в нервной системе нельзя найти наделенных сознанием центров; но восприятие порождено той же причиной, которая породила цепь нервных элементов с органами, ее поддерживающими, и жизнь вообще: оно выражает и измеряет присущую живому существу способность действовать – индетерминацию движения или действия, которые последуют за полученным возбуждением. Эта индетерминация, как мы показали, выразится в опосредованном отражении на самих себя образов, окружающих наше тело или, точнее, в их разделении; а так как цепь нервных элементов, пол-учающих, задерживающих и передающих движения, и есть местонахождение этой индетерминации и задает ее меру, то наше восприятие будет согласовываться с каждой деталью и выражать любые изменения этих нервных элементов. Таким образом, наше восприятие в чистом виде действительно было бы

причастно вещам. Ощущение же, в собственном смысле слова, отнюдь не исходит спонтанно из глубин сознания, чтобы, ослабляясь, перейти в пространство, но совпадает с неизбежными изменениями, под влиянием окружающей среды образов, того особого образа, который каждый из нас Λ зывает своим телом.

Такова упрощенная, схематическая теория внешнего восприятия. Это теория чистого восприятия. Если принять ее за окончательную, роль нашего сознания в восприятии ограничивалась бы связыванием непрерывной нити памяти бесконечного ряда мгновенных образов, которые скорее принадлежали бы вещам, чем нам самим. То, что наше сознание исполняет во внешнем восприятии главным образом именно эту роль, можно, впрочем, вывести *a priori*, из самого определения живых тел. Если тела эти предназначены воспринимать возбуждения для их переработки в недетерминированные реакции, то выбор реакции не должен совершаться случайно. Этот выбор, без всякого сомнения, обуславливается прошлым опытом, и реакция не происходит без обращения к воспоминаниям, оставшимся от прежних аналогичных положений. Индетерминация действий, которые предстоит совершить, требует, следовательно, чтобы не свестись к простому капризу, сохранения воспринятых образов. Можно сказать, что мы способны овладеть будущим только при такой же и сообразной перспективе, обращенной в прошлое, что поступательный напор нашей активности оставляет позади себя пустоту, куда врываются воспоминания, и что память в сфере

198 Переход к проблеме материи

познания представляет собой еще и отражение индетерминации нашей воли. Но действие памяти распространяется гораздо дальше и гораздо глубже, чем можно предположить после этого поверхностного анализа. Пришло время снова ввести память в восприятие, исправить этим возможные крайности наших выводов и определить таким образом с большой точностью точку соприкосновения между сознанием и вещами, между телом и духом.

Скажем прежде всего, что если дана память, то есть сохранение образов прошлого, эти образы будут постоянно примешиваться к нашему восприятию настоящего и могут даже вытеснить его. Образы прошлого сохраняются только для того, чтобы быть использованными, они непрерывно дополняют опыт настоящего, обогащая его уже приобретенным опытом; и так как этот прошлый опыт не перестает увеличиваться, в конце концов он перекрывает и насыщает собой опыт настоящего. Несомненно, что действительная, и, так сказать, сиюминутная интуиция, на основе которой разворачивается наше восприятие внешнего мира, представляет собою нечто весьма малое по сравнению со всем тем, что прибавляет к ней память. Воспоминание о предшествовавших аналогичных интуициях $\&\#967$; полезнее этой мгновенной интуиции, так как оно связано в нашей памяти с целым рядом последующих событий и может тем самым лучше просветить нас при принятии решения, – именно поэтому оно замещает действительную интуицию, на долю которой выпадает только – как мы докажем впоследствии –, задача вызвать воспоминание, воплотить его, сделать активным, а тем самым и действительным. Мы были, следовательно, правы, говоря, что совпадение восприятия с воспринимаемым объектом существует скорее в принципе, чем на деле. Нужно учитывать, что восприятие становится в конце концов лишь поводом к воспоминанию, что практически мы измеряем степень реальности степенью полезности, что нам в итоге во всех отношениях выгодно обратить непосредственные интуиции, которые совпадают, в сущности, с самой действительностью, в простые знаки реального. Здесь мы вскрывает ошибку тех, кто видит в восприятии проекцию вовне непротяженных ощущений, извлеченных нами изнутри и развернутых затем в пространстве. Они легко могут показать, что наше восприятие, взятое целиком, насыщено внутренними, лично нам присущими образами и образами овнешненными (то есть, в конечном счете, представленными памятью), однако упускают из вида при этом, что остается еще имперсональный фон, где восприятие совпадает с воспринятым объектом, и что этот фон и есть внешнее как таковое.

Главная ошибка, которая, восходя от психологии к метафизике, создает в конце концов препятствия познанию как тела, так и духа состоит в том, что между чистым восприятием и воспоминанием видят только разницу в интенсивности, а не по существу. Наши восприятия несомненно пропитаны воспоминаниями и, наоборот, воспоминание, как мы покажем ниже, становится наличным, актуальным, только

заимствуя тело какого-нибудь восприятия, в которое оно воплощается. Оба акта, восприятие и воспоминание, всегда, следовательно, взаимопроницаемы и всегда обмениваются своими субстанциями как при эндосмосе. Задача психолога разъединить их, вернуть каждому из них его первоначальную чистоту: таким путем разъяснились бы многие трудности,

Роль тела¹⁹⁹

выявляемые психологией, а может также и проблемы, поднимаемые метафизикой. Но происходит совсем наоборот. В этих смешанных состояниях, состояниях, образованных из неравных частей чистого восприятия и чистого воспоминания, стремятся видеть состояния простые и этим обрекают себя на непонимание как чистого воспоминания, так и чистого восприятия, на признание единственного и однородного явления, которое будет называться то воспоминанием, то восприятием, смотря по тому, преобладает ли тот или другой из этих двух аспектов, и, как следствие, на признание между перцепцией и воспоминанием различия только в степени, а не по существу. Первый результат этого заблуждения, как это мы дальше увидим, – глубокое искажение теории памяти: делая из воспоминания лишь ослабленное восприятие, мы пренебрегаем существенной разницей между прошлым и настоящим, отказываемся от объяснения явлений узнавания и вообще от понимания механизмов бессознательного. И наоборот, сделав из воспоминания более слабое восприятие, в восприятии уже нельзя увидеть ничего иного, кроме более интенсивного воспоминания. Рассуждать о нем приходится так, как будто восприятие дано нам наподобие воспоминания, как внутреннее состояние, как простая модификация нашей личности. Игнорируется первичный, фундаментальный акт восприятия, тот акт, составляющий чистое восприятие, который сразу помещает нас среди вещей. И то же заблуждение, которое в психологии находит выражение в полном бессилии объяснить механизм памяти, в метафизике накладывает глубокую печать как на идеалистическую, так и на реалистическую концепцию материи.

В самом деле, для реализма неизменный порядок явлений природы основан на причине, отличной от самих наших восприятий, признается ли эта причина непознаваемой или доступной усилиям метафизического построения (всегда более или менее произвольного). Для идеалиста, наоборот, восприятиями исчерпывается вся реальность, а неизменный порядок явлений природы – это лишь символ, с помощью которого мы обозначаем, наряду с реальными восприятиями, восприятия возможные. Но как для реализма, так и для идеализма восприятия суть "достоверные галлюцинации", состояния субъекта, проецированные вовне, и эти два учения отличаются попросту тем, что в одном эти состояния конституируют реальность, а в другом – присоединяются к ней.

Но эта иллюзия скрывает под собой еще одну, распространяющуюся на теорию познания в целом. Мы сказали, что материальный мир состоит из объектов, или, если угодно, из образов, в которых все части действуют и реагируют одна на другую, совершая движения. Наше чистое восприятие конституировано в среде этих движений нашего сознания, а не наоборот. Оно не является причиной, а лишь следствием этих движений.

состоит; стажа гбът гъ в его "книжности" движениях, которые его продолжают, а не в отношении интенсивности: прошлое – это только идея, настоящее же – это реальность. Но этого-то упорно и не хотят видеть, смотря на восприятие как на разновидность созерцания, приписывая ему чисто спекулятивную цель и направленность на некое неведомое бескорыстное познание: как будто отделяя его от действия, обрывая таким образом его связи с реальным, его не делают сразу и необъяснимым, и бесполезным! Но тогда упраздняется всякое различие между

200 Переход к проблеме материи

восприятием и воспоминанием, потому что прошлое по своему существу есть то, что уже не действует, и, не признавая этого признака прошлого, становится невозможным отличить его от настоящего, то есть от действующего. Стало быть, между восприятием и памятью остается лишь простая разница в степени, и как в том, так

и в другом случае субъект останется замкнутым в самом себе. Восстановим, вопреки этому, истинный характер восприятия, обнаружим в чистом восприятии систему нарождающихся действий, погруженную в реальное своими глубокими корнями: такое восприятие будет радикально отличаться от воспоминания; реальность вещей не будет уже ни чем-то сконструированным, ни чем-то реконструированным, она будет осязаемой, проницаемой, переживаемой, и проблема, дискутируемая между реализмом и идеализмом, вместо того, чтобы обрести вечность в метафизических словопрениях, должна будет разрешиться интуицией.

Но тем самым мы также ясно обнаруживаем, какое положение следует занять между идеализмом и реализмом, которые оба вынуждены рассматривать материю как конструкцию или реконструкцию, осуществляемую разумом. В самом деле, следуя до конца установленному нами принципу, согласно которому субъективность нашего восприятия обуславливается прежде всего благодаря участию памяти, мы будем утверждать, что чувственные качества материи будут познаваемы в них самих, изнутри, а не извне, если бы нам удалось отделить их от особого ритма длительности, характерного для нашего сознания. Наше чистое восприятие, на самом деле, как бы оно ни было скоротечно, занимает определенную меру длительности, так что наши последовательные восприятия никогда не бывают реальными моментами вещей, – как мы предполагали до сих пор, – но представляют собой моменты нашего сознания. Мы говорили, что теоретически роль сознания во внешнем восприятии состоит в том, чтобы непрерывной нитью памяти связывать мгновенные видения реального. Но на самом деле мгновенное никогда для нас не существует. В том, что мы называем мгновенным, уже присутствует работа нашей памяти, а следовательно, и нашего сознания, которое сливается друг с другом, так, чтобы охватить их сравнительно простой интуицией, какое угодно число моментов бесконечно делимого времени. В чем же разница между материей, как ее понимает самый требовательный реализм, и нашим ее восприятием? Наше восприятие дает нам ряд картин вселенной, живописных, но разобщенных: из нашего настоящего восприятия мы не можем вывести позднейших восприятий, потому что в совокупности ощущаемых качеств ничто не дает возможности предвидеть новые качества, в которые они переходят. Напротив, материя, как она обыкновенно понимается реализмом, эволюционирует так, что можно переходить от одного момента к следующему путем математической дедукции. Между такой материей и таким восприятием научный реализм не сумеет найти ни одной точки соприкосновения, потому что он разворачивает эту материю в множество однородных изменений в пространстве, тогда как восприятие сводит к непротяженным ощущениям в сознании. Но если наша гипотеза обоснована, то вполне понятны как сходства, так и различия восприятия и материи. Качественная разнородность наших последовательных восприятий вселенной основана на том, что каждое из этих восприятий

Роль тела-201

имеет определенную длительность, и на том, что память конденсирует в каждом восприятии огромное множество возбуждений, которые, хотя они и последовательны, кажутся нам одновременными. Чтобы перейти от восприятия к материи, от субъекта к объекту, было бы достаточно мысленно разделить эту нераздельную толщу времени, различить в ней произвольное множество моментов, – словом, совершенно устранить память. Тогда материя, становясь все более и более однородной по мере того, как наши экстенсивные ощущения распадались бы на все большее число моментов, бесконечно приближалась бы к той системе однородных колебаний, о которой говорит реализм, хотя, конечно, никогда не совпала бы с ней полностью. Нет никакой необходимости полагать, с одной стороны, пространство с невоспринимаемыми движениями, с другой – сознание с непротяженными ощущениями. Наоборот, субъект и объект соединяются в экстенсивном восприятии, так как субъективный аспект восприятия состоит в сжатии*, совершаемом памятью, а объективная реальность материи сводится к многочисленным и последовательным возбуждениям, на которые это восприятие внутренне разлагается. Таково, по крайней мере, заключение, которое, мы надеемся, можно будет вывести из последней части этой работы. Вопросы, касающиеся субъекта и объекта, их различия и их соединения, должны быть поставлены скорее в зависимость от времени, чем от пространства.

Но наше различие "чистого восприятия" и "чистой памяти" имеет в виду еще и другую цель. Если чистое восприятие, давая нам указания на природу материи,

должно позволить нам занять позицию между реализмом и идеализмом, чистая память, открывая перспективу на то, что называется духом, должна будет позволить провести различие между двумя другими доктринами: материализмом и спиритуализмом. Именно этой стороной вопроса мы займемся в следующих двух главах, потому что в этом направлении наша гипотеза допускает, до некоторой степени, экспериментальную проверку.

Наши заключения о чистом восприятии можно, в действительности, резюмировать так: «материи есть нечто сверх того, но не отличное от того, что дано фактически. Сознательное восприятие, без сомнения; не постигает материю целиком, так как, будучи сознающим, оно состоит в разделении или в "различении" в этой материи того, что касается различных наших потребностей. Но между таким восприятием материи и самой материей разница только в степени, а не по существу, — так как чистое восприятие относится к материи как часть к целому. Это означает, что материя не смогла бы обнаружить сил иного рода, чем те, которые мы в ней воспринимаем. Она не имеет, не может скрывать в себе таинственных свойств. В качестве достаточно наглядного примера, к тому же более всего нас интересующего, можно привести нервную систему — материальную массу, обнаруживающую определенные качества цвета, сопротивляемости, сцепления и т. д., которая обладает, может быть, невоспринимаемыми физическими свойствами, но свойствами исключительно физическими. И следовательно, роль ее должна сводиться только к тому, чтобы воспринимать, задерживать или передавать движение.

Между тем, сущность всякого материализма состоит в противоположном утверждении, так как он претендует вывести сознание со всеми

202 Переход к проблеме памяти

его функциями из одних только действий материальных элементов. Тем самым он вынужден рассматривать уже и сами воспринятые качества материи, качества чувственные, а значит, ощущаемые, — как множество фосфоресценции, сопровождающих мозговые явления в акте восприятия. Материя, способная создавать эти элементарные факты сознания, якобы способна была бы порождать также интеллектуальные, факты самого высокого порядка. Таким образом, материализм по своему существу утверждает полную относительность чувственных качеств, и недаром это положение, точную формулу которого дал Демокрит, оказывается таким же древним, как и материализм.

Но по странному ослеплению спиритуализм всегда следовал на этом пути за материализмом. Думая обогатить дух всем, что он отнимал у материй, он без всякого колебания лишал эту материю тех качеств, которыми она облекается в нашем восприятии, делая их тем самым субъективными видимостями. Он слишком часто превращал таким образом материю в некую мистическую сущность, которая именно потому, что мы знаем только ее пустую видимость, может одинаково порождать как феномены мысли, так и другие явления.

На самом деле существует способ, и только один, опровергнуть материализм: установить, что материя абсолютно такова, какой она кажется. Этим из материи исключалась бы всякая виртуальность, всякая скрытая сила, а явления духа получили бы независимую реальность. Но для этого надо было бы оставить материи ее качества, которых и материалисты, и спиритуалисты согласованно ее лишают: одни — обращая их в представление духа, другие — не видя в них ничего, кроме случайной внешней оболочки протяженности.

Именно такую установку в отношении материи занимает здравый смысл, и именно поэтому здравый смысл верит в дух. Нам кажется, что философия должна в этом случае принять эту установку здравого смысла, сделав, впрочем, поправку в одном пункте. Память, практически неотделимая от восприятия, включает прошлое в настоящее, сжимает таким образом в единой интуиции множество моментов длительности и благодаря этому, из-за своего двойного действия, является причиной того, что мы де факто воспринимаем материю в нас, тогда как де юре мы

Отсюда капитальное значение проблемы памяти. Если прежде всего память придает восприятию его субъективный характер, то философия материи, как мы сказали, должна поставить целью элиминировать то, что привносится в восприятие памятью. Теперь мы прибавим: поскольку чистое восприятие дает нам все собственно материальное или, по крайней мере, все, что для него существенно, поскольку все остальное исходит от памяти и представляет собой дополнение к материи, то необходимо, чтобы память была силой, в принципе совершенно независимой от материи. Таким образом, если дух – это некая реальность, то именно здесь, в явлениях памяти, мы сможем его коснуться экспери-ментальщ.Ли отсюда всякая попытка вывести чистое воспоминание из действия мозга должна обнаружить при анализе содержащуюся в ней фундаментальную иллюзий.

Повторим то же самое в более ясной форме. Мы утверждаем, что материя не обладает никакой оккультной или непознаваемой силой,

Роль тела203

что в том, что для нее существенно^ она совпадает с чистым восприятием. Отсюда мы заключаем, что живое тело вообще, нервная система в частности суть не что иное, как места прохождения движений, которые, будучи восприняты в виде возбуждений, передаются в форме рефлекторных или волевых актов. Это означает, что было бы напрасно придавать мозговому веществу способность порождать представлений. Между тем явления памяти, – где мы намерены постичь дух в его наиболее осязаемой форме, – относятся как раз к числу феноменов, которые поверхностная психология охотнее всего выводит исключительно из церебральной активности, именно из-за того, что они находятся в точке соприкосновения между сознанием и материей, а также из-за того, что даже противники материализма нисколько не считают несообразным трактовать мозг как вместилище воспоминаний. Но если бы можно было позитивным путем установить, что церебральный процесс соответствует лишь очень незначительной доле памяти, что процесс этот скорее её следствие, а не причина, что материя и здесь, как и всюду, представляет собой носительницу действия, а не субстратпознания, тогда защищаемый нами тезис оказался бы доказанным на примере, считающемся наиболее неблагоприятным, и необходимость возвести дух в независимую реальность напрашивалась бы сама собой. Но при этом, возможно, отчасти выяснилась бы также природа того, что называется духом, и возможность духа и материи действовать друг на друга. Такого рода доказательство не может быть чисто отрицательным. Показав, чем память не может быть, нам придется искать, что она есть такое. Признав за телом единственную функцию подготовки действия, мы неминуемо должны будем исследовать, почему память кажется объединенной с телом, как влияют на нее телесные повреждения и в каком смысле она соотносится с состояниями мозгового вещества. Кроме того, не может быть, чтобы это исследование не привело нас к прояснению психологического механизма памяти, как и различных духовных операций, с ним связанных. И наоборот, если чисто психологические проблемы оказываются в свете нашей гипотезы более ясными, сама эта гипотеза приобретает большую достоверность и прочность.

Но ту же идею мы должны представить еще и в третьей формулировке, чтооы как следует установить, в каком отношении проблема памяти, на наш взгляд, является проблемой привилегированной. Из нашего анализа чистого восприятия вытекают два заключения, из которых одно выходит за пределы психологии в область психофизиологии, а другое – в область метафизики, и, следовательно, ни то, ни другое не допускают непосредственной проверки. Первое касается роли мозга в восприятии: мозг оказывается орудием действия, а не представления. Мы не могли требовать прямого подтверждения этого тезиса фактами, потому что чистое восприятие по определению распространяется на наличные предметы, действующие на наши органы и наши нервные центры, и все, следовательно, всегда будет происходить так, как будто наши восприятия ^представляют собой эманации нашего мозгового состояния, которые проецируются затем на совершенно отличный от них объект. Другими словами, в случае внешнего восприятия, тезис, нами оспариваемый, и тот, которым мы его заменяем, приводят к одинаковым выводам, так что в пользу того или другого можно приводить

204Переход к проблеме памяти

только его боольшую понятность, но не авторитет опыта. Эмпирическое же исследование памяти, напротив, может и должно их разделить. В самом деле, чистое воспоминание, согласно гипотезе, – это представление отсутствующего предмета. Если именно определенная деятельность мозга была необходимой и достаточной причиной возникновения восприятия, то этой же церебральной активности, более или менее полно повторяющееся в отсутствие предмета, будет достаточно и для воспроизведения этого восприятиями тогда память можно будет целиком объяснить через обращение к мозгу. Если же, напротив, мы найдем, что хотя мозговой механизм некоторым образом обуславливает воспоминание, однако совершенно недостаточен, чтобы обеспечить его сохранение и жизнь, что в воспоминаемом восприятии он касается скорее нашего действия, чем представления, то из этого можно будет заключить, что аналогичную роль он играет и в самом восприятии и что функция его состоит в том, чтобы просто обеспечивать наше эффективное воздействие на наличный предмет. Наше первое заключение оказалось бы, таким образом, проверенным. В таком случае осталось бы подвергнуть проверке второе заключение, скорее метафизического порядка, согласно которому в чистом восприятии мы в самом деле пребываем вне самих себя и действительно при этом касаемся реальности предмета в непосредственной интуиции. Тут экспериментальная проверка опять-таки невозможна, потому что практические результаты окажутся совершенно теми же, будет ли реальность предмета воспринята интуитивно, или она будет рационально построена. Но здесь изучение воспоминания поможет разделить между собой две эти гипотезы. В самом деле, согласно второй из них между восприятием и воспоминанием разница только в интенсивности или, в более общей форме, в степени, так как и то, и другое будут самодостаточными феноменами представления. Если же, наоборот, между воспоминанием и перцепцией, существует не просто разница в степени, но и коренное различие по природе, то презумпция будет в пользу гипотезы, которая вводит в перцепцию нечто, ни в какой степени не присущее воспоминанию, – интуитивно уловленную реальность. Таким образом, проблема памяти без всякого сомнения представляет собой привилегированную проблему, в том смысле, что она должна привести к психологической проверке двух положений, которые кажутся недоступными верификации, и из которых второе, скорее метафизического порядка, казалось бы, далеко выходит за пределы психологии.

Путь, которому мы должны следовать, теперь ясно намечен. Мы начнем с обзора различного рода материалов и свидетельств, заимствованных из нормальной и патологической психологии, из которых можно было бы вывести физическое объяснение памяти. Это исследование будет по необходимости тщательным, чтобы не стать бесполезным: мы должны, придерживаясь насколько возможно близко контура фактов, искать, где начинается и где кончается роль тела в процессе памяти. И в случае, если мы найдем в этом исследовании подтверждение нашей гипотезы, мы, не колеблясь, пойдем дальше, рассмотрим элементарную работу духа и тем самым дополним намеченную теорию отношения духа к материи.

Глава вторая.

Узнавание образов. – Память и мозг.

Сразу же сформулируем заключения, вытекающие из наших принципов для теории памяти. Мы сказали, что тело, расположенное между предметами, которые на него действуют и на которые оно влияет, – это только проводник, который должен вбирать в себя движения и передавать их, когда он их не задерживает, моторным механизмам, – определенным, если это рефлекторное движение, избираемым, если это волевое действие. Все должно, следовательно, происходить так, как будто независимо действующая память накапливает образы, расположенные во времени, по мере того как они возникают, и как будто наше тело со всем, что его окружает, – это лишь определенный образ среди этих образов, последний по времени, который мы можем получить в любой из моментов, сделав мгновенный срез во всеобщем становлении. В этом срезе тело наше занимает центральное место. Вещи, его окружающие, действуют на него, и оно реагирует на них. Реакции его более или

менее сложны, более или менее разнообразны, в зависимости от числа и природы приспособлений, образовавшихся в результате опыта внутри его субстанции. Таким образом, действие прошлого оно может накапливать в форме моторных приспособлений и установок и не может накапливать в другой форме. Отсюда можно заключить, что образы прошлого, как таковые, в собственном смысле, сохраняются иначе и что мы должны, следовательно, сформулировать нашу первую гипотезу:

I. Прошлое сохраняется в двух различных формах: 1) в форме двигательных механизмов*, 2) в виде независимых воспоминаний.

Но в таком случае практическая, а значит, и обычная операция памяти – использование прошлого опыта для действия в настоящем, наконец, узнавание – должна совершаться двумя способами. Она будет осуществляться или в самом действии, автоматическим включением соответствующего обстоятельствам механизма, или будет содержать в себе работу духа, который начнет отыскивать в прошлом, чтобы направить их на настоящее, наиболее подходящие для актуальной ситуации представления. Отсюда наше второе положение:

II. Узнавание наличного предмета совершается посредством движений, когда оно исходит от объекта, и посредством представлений, когда оно исходит от субъекта.

Но здесь возникает еще один вопрос: как сохраняются эти представ-

20 Две формы памяти

ления и в каком отношении они находятся к моторным механизмам? Вопрос этот будет подробно разобран лишь в следующей главе, когда мы будем говорить о бессознательном и покажем, в чем в сущности состоит различие между прошедшим и настоящим. Но уже теперь мы можем говорить о теле, как о подвижном пределе между будущим и прошлым – перемещающейся точке, которую наше прошлое как бы толкает непрерывно в наше будущее. Мое тело, будучи рассмотренным в один отдельный момент, представляет собой лишь проводник, помещенный между предметами, которые на него влияют и на которые оно действует; однако же вновь помещенное в текущее время, оно всегда оказывается в строго определенной точке, где мое актуальное только что вообрало в себя мое прошлое. И, следовательно, те особые образы, которые я называю мозговыми механизмами, всегда, в любой отдельный момент, заканчивают ряд моих прошлых представлений в настоящем точкой их сцепления с реальным, или, что тоже самое, с действием. Оборвите это сцепление: прошлый образ, может быть, и не разрушится, но вы лишаете его всякой возможности действовать на реальное, а значит, как мы это докажем, и реализоваться. В этом и только в этом смысле повреждение мозга может что-то уничтожить в памяти. Отсюда наше третье и последнее положение.

III. Через неощутимые промежуточные ступени происходит переход от воспоминаний, расположенных вдоль временной длительности, к движениям, которые намечают начинающееся или возможное действие тела в пространстве. Повреждения мозга могут нарушить эти движения, но не затрагивают воспоминания.

Остается выяснить, подтверждаются ли эти три положения на опыте.

I. Две формы памяти. – Я учу урок, и, чтобы выучить его наизусть, я сперва читаю его, проговаривая вслух каждый абзац; я повторяю урок несколько раз. При каждом новом чтении я продвигаюсь вперед: слова связываются все лучше и лучше и наконец организуются в целое. В этот строго определенный момент я выучил свой урок наизусть, и принято говорить, что он стал воспоминанием, запечатлелся в моей памяти.

Теперь я хочу знать, каким образом был выучен урок, и представляю себе все фазы,

через которые я последовательно проходил. Каждое из следующих одно за другим чтений восстанавливается при этом в моем уме со свойственными ему индивидуальными особенностями: я вновь его вижу, со всеми теми обстоятельствами, которые его сопровождали и продолжают определять. Каждое чтение отличается от предыдущих и последующих самим местом, которое оно занимало во времени, и вновь проходит передо мной как определенное событие моей истории. Эти образы тоже называют воспоминаниями, и говорят, что они запечатлелись в моей памяти. В обоих случаях употребляют одни и те же слова. Но идет ли речь в самом деле оо одном и том же?

Запоминание урока путем заучивания наизусть имеет все характерные черты привычки. Как и привычка, оно приобретается повторением одного и того же усилия. Как и привычка, требует сперва разложения целого действия на части, а потом его восстановления. Наконец, как всякое ставшее привычным упражнение тела, оно откладывается в виде некоторого механизма, который весь сразу приводится в действие на-

Память и мозг 207

чальным импульсом, в виде замкнутой системы автоматических движений, которые следуют одно за другим в одном и том же порядке и в течение одного и того же времени.

Напротив, воспоминание об одном отдельном чтении, втором или третьем, например, не имеет никаких признаков привычки. Его образ запечатлелся в памяти сразу, потому что другие чтения по определению составляют предмет других, отличных воспоминаний. Это как событие моей жизни: оно по самой своей сущности относится к определенной дате и, следовательно, не может повториться. Все, что к нему могут прибавить последующие чтения, только накладывается на его первоначальную природу, и если при частом повторении для вызова этого образа от меня будет требоваться все меньше и меньше усилий, то сам образ, взятый в себе, необходимо был с самого начала тем, чем неизменно остается.

Можно ли сказать, что эти два воспоминания, воспоминание чтения и запоминания урока, различаются только как более слабое от более сильного, что последовательно развивающиеся образы, возникающие при каждом чтении, покрывают друг друга, и что выученный урок – это лишь суммарный образ, полученный наслаением всех остальных? Несомненно, что каждое чтение отличается от предыдущего в особенности тем, что урок все лучше усваивается. Но так же несомненно то, что каждое из них, рассматриваемое как все время возобновляемое чтение, а не как все лучше выученный урок, совершенно самодостаточно, остается таким, каким оно было при осуществлении, и составляет со всеми сопутствующими восприятиями не сводимый к другим момент моей истории. Можно пойти дальше и сказать, что сознание открывает нам между этими двумя родами воспоминаний глубокое различие, различие по природе. Воспоминание об одном определенном чтении – это представление и только представление; оно заключается в разумной интуиции, которую я могу по желанию продлить или сократить; я придаю ему произвольную длительность, и ничто не мешает мне охватить его сразу, как картину. Наоборот, воспоминание выученного урока, даже когда я ограничиваюсь повторением его про себя, требует совершенно определенного времени – времени, которое необходимо для развития одного за другим, пусть и в воображении, всех необходимых движений артикуляции: таким образом, это уже не представление, а действие. фактически, раз урок выучен, на нем нет никакого следа его происхождения, ничего, что определяет его место в прошедшем; он составляет часть моего настоящего, как моя привычка ходить или писать; он скорее прожит, "проделан", чем представлен; – я мог бы посчитать его врожденным, если бы не был способен вызвать одновременно, как ряд представлений, те последовательные чтения, с помощью которых я его выучил. Эти представления, таким образом, от него независимы, и так как они по отношению к выученному и пересказанному уроку уже пройдены, то урок, будучи однажды выученным, также может обойтись уже без них.

Доведя до конца это коренное различие, можно было бы представить себе два рода памяти, теоретически независимые друг от друга. Первая регистрирует в виде образов-воспоминаний все события нашей ежедневной жизни по мере того, как они развертываются; она не пропуска-

208 .Две формы памяти

ет ни одной подробности и оставляет каждому факту, каждому жесту его место и его время. Без задней мысли о пользе или практическом применении она сохраняет прошедшее только в силу естественной необходимости. При ее помощи становится возможным разумное или, скорее, интеллектуальное узнавание уже пережитого восприятия; к ней мы прибегаем всякий раз, когда поднимаемся по склону нашей прошлой жизни, чтобы найти там какой-то определенный образ. Но всякое восприятие продолжается в начинающееся действие, и по мере того, как образы, будучи однажды восприняты, фиксируются и выстраиваются в памяти этого рода, движения, их продолжавшие, видоизменяют организм, создают в теле новые установки к действию. Таким образом формируется опыт совершенно иного рода, который запечатлевается в теле; образуется ряд вполне готовых механизмов, со все более и более многочисленными и разнообразными реакциями на внешние раздражения, с готовыми ответами на непрерывно увеличивающееся число возможных внешних требований. Мы осознаем наличие этих механизмов в тот момент, когда они начинают действовать, и это сознание всех усилий прошлого, отложившихся в настоящем, тоже, конечно же, представляет собой память, но память, глубоко отличную от первой, всегда устремленную на действие, расположенную в настоящем и имеющую в виду лишь будущее. Из прошлого она сохраняет только разумно координированные движения, которые представляют собой накопленные прошлые усилия; она удерживает эти прошлые усилия не в виде образов-воспоминаний, с ними связанных, но в строгом порядке и систематическом характере выполнения актуальных движений. На самом деле, она уже не представляет нашего прошлого, она его проигрывает; если она еще заслуживает название памяти, то не потому, что сохраняет давние образы, а потому, что продолжает их полезное действие до настоящего момента.

В этих двух видах памяти, из которых одна повторяет, а другая повторяет, вторая может заменять первую и часто даже создавать ее иллюзию. Когда собака встречает хозяина радостным лаем и лаской, она без сомнения его узнает; но содержит ли в себе это узнавание вызов прошлого образа и сближение его с наличным восприятием? Не состоит ли оно скорее в том, что животное осознает некоторую особую установку или манеру поведения, усвоенную его телом, установку, постепенно сложившуюся под воздействием близких отношений к хозяину и механически вызываемую теперь при одном его восприятии? Не будем заходить слишком далеко: и у животного неясные образы прошлого, может быть, накладываются на наличное восприятие, и можно даже допустить, что все его прошлое виртуально целиком отображено в его сознании; но это прошлое недостаточно интересует его, чтобы отвлечь от настоящего, всецело его поглощающего, и узнавание здесь должно быть скорее переживаемым, чем мыслимым. Чтобы вызвать прошлое в виде образа, надо обладать способностью отвлекаться от действия в настоящем, надо уметь ценить бесполезное, надо хотеть пометать. Быть может, только человек способен на усилие такого рода. К тому же прошлое, к которому мы восходим таким образом, трудноуловимо, всегда готово ускользнуть от нас, как будто регрессивной памяти мешает другая память,

Память и мозг·209

более естественная, поступательное движение которой подготавливает нас к действию и жизни.

Когда психологи говорят о воспоминании, как о приобретенной

визвине, как о впечатлении, которое, повторяясь, отпечатывается

все глубже, они забывают, что огромное большинство наших воспоминаний связано с

событиями и подробностями нашей жизни, сущность которых в том, что они относятся к определенному моменту времени и, следовательно, уже никогда не воспроизводятся. Воспоминания, приобретаемые усилием воли, повторением, редки, исключительны. Наоборот, регистрация памятью единственных в своем роде фактов и образов происходит каждое мгновение. Но так как

Заученные воспоминания наиболее полезны, их замечают в первую

очередь. А поскольку приобретение этих воспоминаний при помощи повторения одного и того же усилия подобно уже известному процессу привычки, то воспоминание этого рода предпочитают выдвинуть на первый план, делают из него образец воспоминаний, а в спонтанном запоминании видят то же самое явление в зачаточном состоянии,

как бы первое чтение урока, заучиваемого наизусть. Но как можно

не признать, что существует радикальное различие между тем, что должно быть образовано через повторение, и тем, что по самой своей сути повториться не может? Спонтанное воспоминание сразу носит законченный характер: время ничего не сможет прибавить к его об-

разу, не лишив это воспоминание его природы; оно сохранит в памя-

. Эти свое место и свою дату. Напротив, заученное воспоминание будет

«выходить из обстоятельств времени по мере того, как урок будет

*лучше заучиваться; оно будет становиться все более и более безлич-

ным, все более отчужденным от нашей прошлой жизни. Стало быть, повторение несколько не превращает первое воспоминание во второе; роль его заключается просто во все большем и большем использовании движений, которые сопровождали и продолжали первое вос-

поминание, в их согласовании между собой, и в том, чтобы, создав

соответствующий механизм, выработать привычку тела. Привычку эту, впрочем, только потому можно считать воспоминанием, что я помню, как ее приобретал, но вспоминаю я, что она приобретена, лишь потому, что обращаюсь к спонтанной памяти, которая датирует события, регистрируя их раз и навсегда. Из двух родов памяти, различных нами, первая оказывается, следовательно, действительно памятью в собственном смысле слова. Вторая же, та, что обыкновен-

но изучается психологами, – по сути дела скорее привычка, освеща-

емая памятью, чем сама память.

Конечно, пример урока, выученного наизусть, достаточно искусствен. Тем не менее наше существование действительно протекает среди определенного числа предметов, которые более или менее час-

то проходят перед нами: каждый из них, будучи воспринят, вызывает

с нашей стороны по крайней мере зарождающиеся движения, при помощи которых мы к нему приспособляемся. Эти движения, повторяясь, вырабатывают для себя соответствующий механизм, переходят в состояние привычки и задают поведенческие установки, которые автоматически вызываются нашим восприятием вещей. Мы сказали, что наша нервная система не имеет никакого иного назна-

210 Две формы памяти

чения. Аfferентные нервы передают в мозг возбуждение, которое, после осмысленного выбора пути, сообщается моторным механизмам, образованным повторением. Так возникает соответствующая реакция, достигается равновесие со средой, словом, обеспечивается приспособление, составляющее общую цель жизни. И живое существо, которое довольствовалось бы просто процессом жизни, не нуждалось бы ни в чем ином. Но в то время, как происходит этот процесс восприятия и адаптации, который заканчивается регистрацией прошлого в виде двигательных привычек, сознание, как мы увидим, удерживает образ положений, через которые оно поочередно проходило, и выстраивает их в порядке следования. Для чего служат эти образы-воспоминания? Сохраняясь в памяти, воспроизводясь в сознании, не приводят ли они к нарушению практического характера жизни, примешивая к действительности грезу? Так без сомнения и было бы, если бы наше актуальное сознание, сознание, строго соответствующее точному приспособлению нашей нервной системы к нал^ю личной ситуации, не устраняло бы все те образы прошлого, которые не могут быть координированы с актуальным восприятием и образовать с ним полезное целое. Разве что некоторые смутные воспоминания, не относящиеся к наличной ситуации, могут возникать за пределами утилитарно ассоциированных образов, слагаясь вокруг них в слабо освещенное окаймление, которое теряется в окружающей его огромной темной зоне. Но стоит случайно нарушиться равновесию между внешним возбуждением и двигательной, реакцией, поддерживаемому мозгом, стоит на мгновение ослабнуть напряжению связей, идущих от периферии к периферии, проходя через центр, – и затемненные образы начинают выбиваться на свет: без сомнения, именно это последнее условие реализуется, когда мы спим и видим сны. Из двух различных нами родов памяти, память второго рода – активная, или двигательная – должна будет постоянно препятствовать первой, или, по крайней мере, брать из нее лишь то, что может прояснить или полезно дополнить наличную ситуацию: отсюда можно вывести законы ассоциации идей. Однако образы, накопленные спонтанной памятью, независимо от службы, которую они могут сослужить, благодаря своей ассоциации с наличным восприятием, имеют еще и другое употребление: Конечно же, это образы-грезы; конечно, они обычно появляются и исчезают помимо нашей воли; и именно поэтому мы вынуждены, для того, чтобы действительно знать вещь, чтобы обращаться с ней по нашему усмотрению, выучить ее наизусть, то есть поставить вместо спонтанного образа двигательный механизм, способный этот образ заменить. Но существует определенное усилие *su^o generis*, позволяющее удержать образ как таковой на ограниченное время в поле зрения нашего сознания, и благодаря этой способности нам нет необходимости ждать случайного повторения тождественных ситуаций, чтобы превратить в привычку сопутствующие движения: мы используем мимолетный образ, чтобы построить устойчивый механизм для его замены. – Наконец, или наше различение двух независимых родов памяти неверно, или, если оно соответствует фактам, мы должны констатировать усиление спонтанной памяти в большинстве случаев нарушения равновесия senso-

Память и мозг 211

моторной нервной системы, и наоборот, задержку в нормальном состоянии всех спонтанных воспоминаний, которые не могут укрепить наличное равновесие и принести пользу; в операции же усвоения воспоминания-привычки мы должны обнаружить скрытое вмешательство воспоминания-образа. Подтверждают ли эту гипотезу факты?

Мы не будем в данный момент настаивать ни на первом, ни на втором пункте: мы надеемся полностью их прояснить при изучении расстройств памяти и законов ассоциации идей. Ограничимся демонстрацией того, как в выученном, затверженном нами оба рода памяти идут бок о бок и друг другу помогают. Ежедневный опыт показывает, что уроки, усвоенные двигательной памятью, повторяются

автоматически, наблюдение же над патологическими случаями обнаруживает, что автоматизм здесь распространяется гораздо дальше, чем мы думаем. Известны случаи, когда слабоумные разумно отвечали на ряд вопросов, которых они не понимали: речь у них функционировала как вид рефлекса. Больные афазией, неспособные самопроизвольно выговорить ни одного слова, без ошибки вспоминают слова песни, когда поют. Они могут также бегло воспроизвести молитву, ряд чисел, назвать дни недели, месяцы года. Таким образом, чрезвычайно сложные механизмы, по своей тонкости подобные разуму, однажды сложившись, могут функционировать сами по себе, а следовательно, могут, как правило, подчиняться одному изначальному импульсу воли. Но что происходит, когда мы их вырабатываем? Когда, например, мы учим что-либо наизусть, разве тот зрительный или слуховой образ, который мы стараемся воспроизвести движениями, не находится уже в нашем уме, невидимый, но наличный? Уже при первом воспроизведении заучиваемого мы узнаем о сделанной ошибке по смутному чувству досады, как будто получаем некое предупреждение из темных глубин сознания.

Сосредоточьтесь на том, что вы испытываете при этом, и вы почувствуете присутствие полного образа заучиваемого, но образа ускользающего, настоящего фантома, который исчезает именно в тот момент, когда ваша моторная активность стремится зафиксировать его силуэт. В ходе недавних опытов, имевших, впрочем, совсем другую цель, испытуемые сообщали, что переживают именно такое чувство. В течение нескольких секунд им показывали ряд букв, которые они должны были запомнить. Но чтобы не дать возможности выделить воспринятые буквы соответствующими движениями артикуляции, от испытуемых требовалось, чтобы они, глядя на буквы, постоянно повторяли определенный слог. В результате возникало особое психологическое состояние,

Robertson, Reflex speech (Journal of mental science, avril 1888). См. статью Ch. F. Le langage réflexe (Revue philosophique, janvier 1896)

Oppenheim, Ueber das Verhalten der musikalischen Ausdrucksbewegungen bei Aphatischen (Charité Annalen, XIII, 1888, p. 348 et suiv.)

Ibid., p. 365

По поводу этого чувства ошибки см. статью: Müller und Schumann, Experimentelle Beiträge zur Untersuchung des Gedächtnisses (Zeitschr. f. Psych. u. Phys. der Sinnesorgane, dec. 1893., p. 305)

W.G. Smith, The relation of attention to memory (Mind, janvier 1895)

212 Две формы памяти

когда испытуемые чувствовали, что они вполне овладели зрительным образом, "не будучи в то же время в состоянии воспроизвести в требуемый момент ни одной самой простой его части: к их великому изумлению, строчка исчезала". По словам одного из участников эксперимента, "в основе этого феномена было наличие представления о совокупности в целом – своего рода сложной всеобъемлющей идеи, в которой части обретали невыразимо осязаемое единство".

Это спонтанное воспоминание, которое, без сомнения, скрыто по ту сторону воспоминания, достигнутого повторением, может обнаружиться через внезапные проблески, но оно исчезает при малейшем движении произвольной памяти. Ряд букв, образ которого субъект считал усвоенным, исчезает именно в то время, когда он начинает их повторять: "это усилие как бы вытесняет остаток образа из сознания". Если вы теперь проанализируете хитроумные приемы мнемотехники, вы увидите, что эта наука, строго говоря, направлена на то, чтобы вывести на первый план спонтанное воспоминание, чаще всего подспудное, и позволить использовать его по нашему усмотрению – как используется активное воспоминание: для этого прежде

все подавляется всякое проявление деятельной или моторной памяти. Способность мысленного фотографирования, говорит один автор, принадлежит скорее подсознательному, чем сознательному > и ее трудно подчинить распоряжению воли. Для ее упражнения нужно привыкнуть, например, запоминать сразу несколько групп точек, даже и не думая их пересчитывать: нужно в определенном смысле имитировать моментальность этой памяти, чтобы достичь ее подчинения себе. И все же она остается капризной в своих проявлениях, и так как воспоминания, которые она несет, имеют нечто от грез, более регулярное ее вторжение в духовную жизнь редко обходится без глубокого нарушения умственного равновесия.

Что это за память, каково ее происхождение и как она действует, – об этом мы узнаем в следующей главе. Пока для нас достаточно схематического представления. Резюмируя предшествующее, скажем, что прошлое действительно, по-видимому, накапливается, как мы это и видели, в двух крайних формах: с одной стороны, в виде двигательных механизмов, которые извлекают из него пользу, с другой – в виде личных образов-воспоминаний, которые регистрируют все его события, с их контуром, окраской и местом во времени. Из этих двух форм памяти первая действительно направлена естественно, в соответствии с природой, вторая же, будучи предоставленной самой себе, приняла бы

"According to one observer, the basis was a *Gasamtvorstellung*, a sort of all embracing complex idea in which the parts have an indefinitely felt unity"
(Smith, idem, p. 73)

Не происходит ли нечто подобное при расстройстве, которое немецкие авторы называют дислексией? Больной правильно прочитывает первые слова фразы, а потом внезапно останавливается, не способный продолжать чтение, как будто движение артикуляции воспрепятствовало воспоминаниям. По поводу дислексии см.: Berlin, *Eine besondere Art der wortblindheit (Dyslexie)*, Wiesbaden, 1887, и Sommer, *Die Dyslexie als funktionelle Störung* (Arch. f. Psychiatrie, 1893). В один ряд с этими же явлениями мы поставили бы и странные случаи словесной глухоты, когда больной понимает слова других, но не понимает своих слов (см. примеры, цитируемые Bateman'ом, *On Aphasia*, p. 200; Bernard'ом, *De l'Aphasie*, Paris, 1889, p. 143 et 144; Broadbenf'ом *Lesmenfpec* (Brain, 1878-1879, p. 484) et suiv.)

Mortimer Granville, *Ways of remembering* (Lancet, 27 sept. 1879, p. 458)

fay, *Memory and how to improve it*, New-York, 1888.

Память и мозг 213

скорее обратное направление. Первая, приобретенная благодаря усилию, остается в зависимости от нашей воли; вторая, совершенно спонтанная, столь же капризна при воспроизведении, как верна при сохранении. Единственная регулярная и несомненная помощь, которую вторая форма памяти может оказать первой, заключается в том, что она сообщается с первой и предоставляет ей образы того, что предшествовало или следовало за ситуациями, аналогичными настоящей, и в итоге проясняет ее выбор: в этом состоит ассоциация идей. Ни в одном другом случае репродуцирующая образы память второй, репетирующей памяти регулярно уже не подчиняется. Во всех других случаях, кроме этого, мы предпочитаем вырабатывать механизм, который позволил бы нам при необходимости заново нарисовать образ, так как мы хорошо чувствуем, что не можем рассчитывать на его новое появление. Таковы две крайние формы памяти, рассматриваемые каждая в ее чистом виде.

Надо сразу же сказать, что истинная природа воспоминания не была выяснена именно потому, что рассматривались промежуточные и в некотором роде нечистые его формы. Вместо того, чтобы сначала разделить две описанные нами составляющие памяти, исследовав потом, какой ряд операций приводит их к взаимопроникновению и утрате части первоначальной чистоты, рассматривался лишь тот смешанный феномен, который

возникал в результате их соединения. Этот феномен, будучи смешанным, имеет, с одной стороны, черты моторного навыка, с другой стороны – черты более или менее сознательно локализованного образа. Но в нем хотя бы видеть нечто простое. Тогда следовало бы предположить, что механизм головного, спинного или продолговатого мозга, служащий основой моторного навыка, одновременно представляет собой субстрат сознательного образа. Отсюда странная гипотеза воспоминаний, откладываемых в мозгу, которые настоящим чудом становятся сознательными и при помощи некоего мистического процесса переносят нас в прошлое. Правда, некоторые ее сторонники настоятельно подчеркивают сознательную сторону этой операции и хотели бы видеть в ней нечто иное, чем эпифеномен. Но так как они с самого начала не рассмотрели отдельно память, удерживающую и выстраивающую последовательные повторения в виде образов-воспоминаний, так как они смешивают ее с привычкой, закрепляемой упражнением, они вынуждены думать, что эффект повторения относится к одному и тому же неразделенному феномену, который просто усиливается с повторением. А так как этот феномен в итоге оказывается всего лишь моторным навыком, с соответствующим ему механизмом, церебральным или каким-то иным, они волей-неволей приходят к предположению, что такого же рода механизм с самого начала лежал в основе образа и что мозг является органом представления.

Мы приступаем к рассмотрению этих промежуточных состояний и выделим в каждом из них элемент зарождающегося действия, то есть участие мозга и участие независимой памяти, то есть образов-воспоминаний. Каковы эти состояния? Будучи в некотором отношении моторными, они должны, по нашей гипотезе, продолжать актуальное восприятие; но с другой стороны, поскольку это образы, они воспроизводят прошлые восприятия. Но конкретный акт, с помощью которого мы

214 Движения и образы-воспоминания

улавливаем прошлое в настоящем, – это узнавание. Таким образом, мы должны изучить узнавание.

II. Об узнавании вообще: образы-воспоминания и движения. Существует два обычных способа объяснения чувства "уже прежде виденного". Для одних узнать наличное восприятие означает мысленно поместить его в прошлую ситуацию. Если я встречаю человека в первый раз, я его просто воспринимаю. Если же я встречу его снова, я его узнаю в том смысле, что сопутствующие обстоятельства первоначального восприятия приходят мне на ум и вокруг наличного образа обрисовывается обстановка, отличная от обстановки, воспринимаемой в настоящем. Узнать, следовательно, означает ассоциировать с наличным восприятием когда-то данные в сочетании с ним образы. Но, как было резонно замечено, повторное восприятие может внушить мысль об обстоятельствах, сопутствовавших первоначальному восприятию, только если это последнее сперва было вызвано подобным ему наличным состоянием. Пусть А будет первичным восприятием, а сопутствующие ему обстоятельства В, С, D – ассоциированными с ним как смежные. Если то же восприятие, но уже вновь осуществленное, я назову А', то так как обстоятельства В, С, D связаны не с А', а с А, то чтобы вызвать их в памяти, необходимо, чтобы ассоциация по сходству вызвала сперва появление А. Бесполезно утверждать, что А' тождественно А. Эти два элемента, хотя они и подоены, остаются нумерически разными и отличаются по крайней мере на основе того простого факта, что А' – это восприятие, между тем как А – уже не более, чем воспоминание. Из заявленных нами двух интерпретаций узнавания первая сливается, таким образом, со второй, к рассмотрению которой мы и приступаем.

На этот раз предположим, что наличное восприятие всегда ищет в глубине памяти воспоминание о прежнем восприятии, схожем с ним: чувство "уже прежде виденного" возникает из-за сопоставления или слияния восприятия с воспоминанием. Безусловно, как это было глубоко замечено, сходство уже есть отношение, установленное умом между элементами, которые он сравнивает и которыми, следовательно, уже располагает, так что восприятие сходства – это скорее следствие ассоциации, а не ее причина. Но наряду с этим определенным и ясно видимым сходством, заключающимся в общности одного и того же элемента, чувственно воспринятого и извлеченного умом, существует еще некое смутное, в некотором роде объективное сходство, разлитое по поверхности самих образов,

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
которое может действовать как физическая причина взаимного притяжения.

Систематическое изложение этого положения с подтверждающими его опытами можно найти в статьях Lehmann'a, lieber wiedererkennen (Philos. Studien, Wundt, t. V, p. 96 et suiv., t. VII, p. 169 et suiv.)

Pillon, La formation des idées abstraites et générales (Crit. Philos. 1885, 1.1, p. 208 et suiv.). – См. Ward, Assimilation and Association (Mind, juillet 1893 et octobre 1894)

Brochard, La loi de similarité, Revue Philosophique, 1880, t. IX, p. 248. Э. Рабье присоединяется к этому мнению в Leçons de Philosophie, 1.1, Psychologie; p. 87–192. 4

Pillon, цитированная статья, стр. 207– – См. James Sully, The human Mind, London, 1892, t. I, p. 331.

Память и мозг 215

Стоит ли ссылаться на то, что мы часто узнаем предмет, не достигая при этом его отождествления со старым образом? Нередко прибегают к удобной гипотезе совпадающих церебральных следов, внутримозговых движений, закрепленных упражнением, или воспринимающих клеток, сообщающихся с клетками, где расположены воспоминания.

В сущности именно в такого рода физиологических гипотезах волей-неволей потерялись все теории узнавания. Они стремятся вывести любое узнавание, сближая восприятия и воспоминания; но с другой стороны, – перед нами опыт, который свидетельствует, что чаще всего воспоминание появляется лишь после того, как восприятие узнано. И тогда приходится отнести к мозгу, в виде комбинации движений или связи между клетками, то, что сначала было объявлено ассоциацией представлений, и объяснить факт узнавания – очень, на наш взгляд, ясный – очень темной, по нашему мнению, гипотезой – гипотезой мозга, накапливающего идеи.

Однако в действительности ассоциации восприятия с воспоминанием совершенно недостаточно, чтобы выяснить смысл процесса узнавания. Если бы узнавание осуществлялось таким образом, оно бы уничтожалось с исчезновением старых образов и всегда имело бы место в случае их сохранения. Психологическая слепота, то есть неспособность узнавать воспринятые объекты, не возникла бы, если бы не было нарушения зрительной памяти, а главное, отсутствие зрительной памяти неизменно вызвало бы как следствие психологическую слепоту. Между тем опыт не подтверждает ни первого, ни второго из этих выводов. В случае, изученном Вильбрандом, больная могла описывать с закрытыми глазами город, в котором жила, и в воображении гулять по нему, но чуть только она попадала на улицу, ей все казалось новым: она ничего не узнавала и не могла сориентироваться. Подобные же факты наблюдались Фр. Мюллером и Лиссауэром.

Больные умеют вызвать внутреннее видение предметов, и вместе с тем они не могут узнать их, когда их им показывают. Стало быть даже сознательное сохранение зрительного воспоминания недостаточно для узнавания схожего восприятия. И наоборот, в случае, описанном Шар-кои ставшем классическим, при полном исчезновении зрительных образов узнавание восприятий не было вполне уничтожено, в чем легко убедиться, внимательно прочитав отчет об этом случае. Конечно, пациент не узнавал улиц своего родного города в том смысле, что он не мог ни назвать, ни сориентироваться в них; но он знал, что это улицы и что он видит дома. Он не узнавал ни жены, ни детей; но, видя их, он все же мог сказать, что это женщина и дети. Все это было бы совершенно невозможно при психической слепоте в абсолютном значении этого слова. Таким образом, было уничтожено узнавание определенного рода, подлежащее нашему анализу, но не способность

узнавать вообще.

Haff ding, Ueber Wiedererkennen, Association und psychische Activité(Vierteljahrsschrift

f. wissenschaftliche Philosophie, 1889, p. 443).

^ Munk, Ueber die Functionen der Grosshirnrinde, Berlin, 1881, p. 108 et suiv.

Die Seelenblindheit als Herderscheinung. Wiesbaden, 1887, p. 56.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Seelenblindheit (Arch. f. Psychiatrie, t. XXIV, 1892).

Ein Fall von Seelenblindheit (Arch. f. Psychiatrie, 1889).

Приводится Бернарром: Bernard, Un cas de suppression brusque et isolée de la vision mentale (Progrès Médical, 21 juillet 1883).

216 Движения и образы-воспоминания

Мы приходим к выводу, что не всякое узнавание и не всегда требует вмешательства старых образов и что можно также вызвать эти образы и не быть в состоянии отождествить с ними восприятия. Что же такое в конце концов узнавание и какое определение мы ему дадим?

Прежде всего, в предельном случае, существует узнавание в данный момент – узнавание, на которое способно тело само по себе, без всякого вмешательства явно выраженного воспоминания. Оно состоит в действии, а не в представлении. Я, например, в первый раз прогуливаюсь по какому-нибудь городу. При каждом повороте улицы я испытываю сомнения, не зная, куда идти; я в нерешительности, и это означает, что перед моим телом возникают альтернативы, что мое движение в целом прерывисто, что в одной двигательной установке моего тела нет ничего, что предполагало бы и подготавливало непосредственно следующие за ней позиции. Позднее, после долгого пребывания в этом городе, я буду ходить здесь машинально, без отчетливого восприятия вещей, мимо которых прохожу. Между этими двумя крайними состояниями – одним, когда восприятие еще не организовало сопровождающих его движений, и другим, где эти сопутствующие движения настолько организованы, что восприятие стало полезным, есть промежуточное состояние, когда предмет и воспринимается, и вызывает связанные между собой, непрерывные, согласованные движения. Сначала было состояние, в котором мною отчетливо осознавалось только мое восприятие; в конце – состояние, в котором я не осознаю ничего, кроме своего автоматизма: в интервале же располагалось смешанное состояние – восприятие, закрепляемое зарождавшимся автоматизмом. Но если последующие восприятия отличаются от первого восприятия тем, что они доводят тело до соответствующей машинальной реакции, если, с другой стороны, эти повторные восприятия осознаются в том виде *suī generis*, который характеризует привычные или узнаваемые восприятия, то не следует ли предположить, что сознание хорошо упорядоченного двигательного аккомпанемента, организованной двигательной реакции, составляет основу ощущения привычности? В основе узнавания, в таком случае, лежало бы явление двигательного порядка;

Узнавать предмет обихода прежде всего означает уметь им пользоваться. Это настолько верно, что первые наблюдатели дали название апраксии тому нарушению узнавания, которое мы называем психической слепотой. Но уметь пользоваться означает сразу намечать приспособленные для этого движения, принимать определенное положение тела или, по крайней мере, стремиться к этому под

влиянием того, что немцы назвали "двигательными побуждениями" (Bewegungsantriebe). Привычка пользоваться предметом ведет, таким образом, к организации совокупности движений и восприятий, и в основе узнавания здесь

Kussmaul, Les troubles de la parole, Paris, 1884, p. 233. – Allen Starr, Apraxia and Aphasia (Medical Record, 27 octobre 1888). – См. Laquer, Zur Localisation der sensorischen Aphasie (Neurolog. Centralblatt, 15 juin 1888), и Podds, On some central affections of vision (Brain, 1885).

Память и мозг 217

опять-таки лежит сознание зарождающихся движений, следующих за восприятием как своего рода рефлекс.

Не существует восприятия, которое не продолжалось бы в движении. Рибо и Модели давно обратили на это внимание. Образование, или воспитание чувств, состоит именно в установлении совокупности взаимосвязей между чувственными впечатлением и движением, которое извлекает из него пользу. По мере повторения впечатления эта взаимосвязь укрепляется; механизм этого процесса не имеет, впрочем, ничего таинственного. Наша нервная система очевидным образом устроена с целью выработки моторных установок, связанных посредством нервных центров с чувственными раздражениями; расчлененность нервных элементов, множественность их конечных разветвлений, способных, без сомнения, сближаться различным образом, делают число возможных соотношений между впечатлениями и соответствующими движениями бесконечным. Но в ходе строительства этот механизм не может осознаваться в той же форме, что и механизм уже сложившийся. Что-то глубоко отличается и ясно обнаруживает уже сложившиеся и укрепившиеся в организме системы движений. Прежде всего, как мы думаем, – это изменение их порядка, кроме того, это преобразование последующих движений в предшествующих, – преобразование, вследствие которого часть виртуально содержит целое, как это происходит, например, когда каждая нота выученной мелодии тяготеет к следующей за ней и требует ее исполнения. Таким образом, если всякое привычное восприятие обладает организованным двигательным аккомпанементом, то чувство узнавания привычного коренится в сознании этой организации.

Это говорит о том, что мы обычно начинаем узнавать прежде, чем это осмысливаем. Наша повседневная жизнь протекает среди предметов, одно наличие которых приглашает нас сыграть ту или иную роль: в этом заключается их аспект привычности. Двигательных тенденций, следовательно, было бы уже достаточно, чтобы у нас возникло ощущение узнавания. Но, скажем об этом сразу, чаще всего к узнаванию присоединяется и нечто другое.

В самом деле: в то время как под влиянием восприятий, все лучше и лучше анализируемых телом, налаживаются его моторные приспособления, наша прежняя психическая жизнь никуда не исчезает: она сохраняется – это мы постараемся доказать – со всеми деталями событий, локализованных во времени. Непрерывно вытесняемая практическим и утилитарным сознанием наличного момента, то есть сенсомоторным равновесием нервной системы, связывающей восприятие с действием, эта память ждет только, чтобы обнаружился зазор между актуальным впечатлением и сопутствующим движением, который позволил бы ей пропустить свои образы. Обычно, чтобы восстановить ход нашего прошлого и обнаружить образ-воспоминание,

Les mouvements et leurs importance psychologique (Revue Philosophique, 1879, t. VIII, стр. 371 и след.). См. Psychologie de Г Attention, Paris, 1889, p. 75 (éd. Félix Alcan).

Physiologie de l'esprit, Paris, 1879, p. 207 et suiv.

В одной из самых насыщенных идеями глав своей "Психологии" (Psychologie, Paris, 1893, т. I, р. 242) Фуйе говорит, что чувство привычности состоит в значительной степени в уменьшении внутреннего шока, конститутивного для неожиданности.

218 Движения и образы-воспоминания

– знакомый, локализованный, личный, который соотносился бы с настоящим, – необходимо усилие для освобождения от действия, в которое включает нас наше восприятие: оно толкает нас к будущему, нам же надо отступить в прошлое. В этом смысле движение скорее вытесняет образ. Однако же, с другой стороны, оно способствует его подготовке, так как, если совокупность всех наших прошлых образов и остается для нас наличной, необходимо еще, чтобы представление, аналогичное актуальному восприятию, было выбрано из всех возможных представлений прошлого. Выполненные или просто зарождающиеся движения подготавливают этот выбор или, по крайней мере, ограничивают поле образов, подлежащих отбору. По устройству нашей нервной системы мы представляем собой существа, у которых впечатления продолжают в соответствующие движения: если старые образы оказываются также способными перейти в эти движения, они пользуются случаем, чтобы проскользнуть в актуальное восприятие и адаптироваться в нем. Тогда они де факто появляются в нашем сознании, хотя должны бы оставаться скрытыми под наличным состоянием. Можно было бы сказать, следовательно, что движения, вызывающие машинальное узнавание, с одной стороны, препятствуют, а с другой – помогают узнаванию при помощи образов. В принципе, настоящее вытесняет прошлое. Но, с другой стороны, именно потому, что подавление старых образов связано с их противоречием наличной двигательной установке, те образы, форма которых позволяет им вписаться в эту установку, встретят меньшее сопротивление, чем остальные. Отсюда следует, что если среди прошлых образов есть образ, способный преодолеть сопротивление настоящего, это будет образ, подобный наличному восприятию.

Если наш анализ верен, то болезни узнавания можно будет разделить на две глубоко отличные друг от друга формы и установить два вида психической слепоты. Действительно, тогда в одних случаях теряется способность вызывать старые образы, а в других – только нарушается связь между восприятием и обычными сопутствующими движениями, когда восприятие вызывает нечеткие движения, как будто оно непривычно. Подтверждают ли факты эту гипотезу?

Относительно первого пункта не может быть сомнений. Кажущееся исчезновение зрительных воспоминаний при психической слепоте – факт до того обычный, что он некоторое время служил определением этой болезни. Мы должны спросить себя, до какой степени и в каком смысле воспоминания могут действительно исчезать? В данный момент нас интересует то, что бывают случаи, когда узнавания не происходит, а зрительная память практически не уничтожена. Имеем ли мы дело в таких случаях, как мы это представляем, с простым расстройством двигательных привычек или, по меньшей мере, с нарушением связи, соединяющей их с чувственными восприятиями? Так как ни один из исследователей не задался этим вопросом, было бы очень трудно на него ответить, если бы нам не удалось обнаружить в разных фрагментах их описаний некоторые факты, кажущиеся значимыми.

Первый из этих фактов – потеря чувства ориентации. Все авторы, трактовавшие психическую слепоту, обратили внимание на эту частную ее особенность. Пациент Лиссауэра совершенно утратил способ-

Память и мозг 219

«

ность ориентироваться в своем доме. Фр. Мюллер настаивает на том факте, что тогда как слепые очень быстро обучаются снова находить потерянную дорогу, больной, пораженный психической слепотой, даже после нескольких месяцев

упражнения не может ориентироваться в собственной комнате. Но разве способность ориентироваться не есть не что иное, как способность координировать движения тела со зрительными впечатлениями и автоматически развивать восприятия-в-полезные реакции?

Есть и второй факт, еще более характерный. Мы имеем в виду тот способ, которым больные психической слепотой рисуют. Можно представить себе две манеры рисовать. Первая состоит в том, что на бумагу наугад наносят несколько точек, которые соединяют между собой, все время проверяя, похож ли рисунок на предмет. Это можно было бы назвать рисованием "по точкам". Но обычно мы пользуемся совсем-но иным способом. Мы рисуем "непрерывной чертой", посмотрев на модель или думая о ней. Чем объяснить такую способность, если не привычкой сразу улавливать организацию наиболее употребимых контуров, то есть двигательным стремлением одним очерком, сразу изображать их схему? Но если при некоторых формах психической слепоты нарушаются привычки или взаимосвязи именно этого рода, то больной, возможно, и будет еще в состоянии провести части линий, которые он кое-как соединит между собой, но уже не сумеет рисовать непрерывной линией, поскольку его рука уже утратила движение контуров. Именно это и подтверждается опытом. Достаточно показательно с этой точки зрения наблюдение Лиссауэра.

Его больной с величайшим трудом рисовал самые простые предметы, а когда хотел нарисовать их по памяти, то набрасывал то тут, то там разрозненные части и не мог соединить их между собою. Однако случаи полной психической слепоты редки. Гораздо многочисленнее случаи вербальной слепоты, когда потеря зрительного узнавания ограничивается буквами алфавита. В таких случаях постоянно наблюдается неспособность больного улавливать то, что можно было бы назвать движением букв, когда он пытается их скопировать. Он начинает их рисовать с какой попало точки, все время сверяя соответствие рисунка образу. Это тем более примечательно, что часто больной сохраняет способность писать под диктовку или спонтанно. В этом случае, таким образом, уничтожена именно привычка схватывать артикуляции воспринимаемого предмета, то есть способность дополнять зрительное восприятие двигательной тенденцией рисовать его схему. Из этого можно заключить, как мы уже сказали, что в этом и состоит изначальное условие узнавания.

Но теперь мы должны перейти от автоматического узнавания, которое совершается преимущественно с помощью движений, к узнаванию, требующему регулярного участия воспоминаний-образов. Первое представляет собой рассеянное узнавание, без участия внимания, второе, как мы увидим, – узнавание внимательное.

Цитир. ст., Arch. f. Psychiatrie, 1889-90, p. 224. См. Wilbrant, Op. cit, p. 140 et Bernhardt, Eingenthümlicher Fall von Hirnerkrankung (Berliner Klinische Wochenschrift, 1877, p. 581).

Цитир. ст., Arch. f. Psychiatrie, t. XXIV, p. 898.

Цитир. стат., Arch. f. Psychiatrie, 1889-90, p. 233.

220 Образы-воспоминания и движения

«

Оно также начинается с движения. Но если при автоматическом узнавании наши движения продолжают наше восприятие, чтобы извлечь из него результат, и таким образом удаляются от воспринятого предмета, в данном случае они, наоборот, возвращаются к предмету, чтобы подчеркнуть его контуры. Отсюда вытекает уже не второстепенная, а преобладающая роль, которую играют здесь воспоминания-образы. Представим себе, в самом деле, что движения отказываются от своей практической цели и что двигательная активность вместо того, чтобы

продолжать восприятие полезными реакциями, возвращается вспять, чтобы прорисовать отдельные черты этого восприятия: тогда образы, аналогичные наличному восприятию, образы, форму которых уже наметили эти движения, теперь уже не случайно, а упорядочение, начнут вливаться в эту форму, правда, опуская при этом многие детали, чтобы облегчить себе вход.

III. Постепенный переход воспоминаний в движения. Узнавание и внимание.

Здесь мы касаемся существенного момента. В тех случаях, когда узнавание сопровождается вниманием, то есть когда воспоминания-образы регулярным путем присоединяются к наличному восприятию, определяется ли появление воспоминаний механическим восприятием, или они сами спонтанно движутся сообразно ему?

В зависимости от ответа на этот вопрос определится сама природа отношений между мозгом и памятью. В самом деле, при всяком восприятии имеет место возбуждение, передаваемое нервами воспринимающим цен-трам. Если бы распространение этого движения на другие корковые центры имело реальным результатом появление там образов, то можно было бы со всей строгостью утверждать, что память есть не что иное, как функция мозга. Но если мы установим, что здесь, как и повсюду, движение может производить только движение, то роль перцептивного возбуждения заключается только в том, чтобы придать телу определенную двигательную установку, в которой и запечатлеваются воспоминания, и тогда – поскольку весь эффект материальных возбуждений сводится к выработке двигательного приспособления – приходится искать природу воспоминания в ином. Согласно первой гипотезе, расстройства памяти, вызванные повреждением мозга, происходят от того, что воспоминания локализовались в пораженной области и были разрушены вместе с ней. По второй гипотезе, наоборот, эти поражения затронут наше зарождающееся или возможное действие, но и только его. Они могут помешать телу принять по отношению к предмету положение, обеспечивающее вызов образа, могут прервать связь воспоминания с наличной реальностью, так как, нарушая последнюю фазу реализации воспоминания – фазу действия, они тем самым будут препятствовать его актуализации. Но ни в том, ни в другом случае повреждение мозга не разрушило бы воспоминаний в подлинном смысле.

Мы будем следовать этой второй гипотезе. Но прежде чем искать ее подтверждение, коротко изложим, как мы представляем себе общие отношения восприятия, внимания и памяти. Чтобы показать, каким образом воспоминание может мало-помалу закрепиться в двигательной установке или в движении, нам придется забежать вперед и коснуться заключений следующей главы этой книги.

Память и мозг 221

Что такое внимание? С одной стороны, существенным результатом внимания является большая интенсивность восприятия и его детализация: следовательно, с точки зрения содержания оно может быть сведено к определенному приросту понимания. Но с другой стороны, сознание отмечает, что такой рост интенсивности восприятия не сводим, в силу различия по форме, к росту интенсивности, вызванному большей силой внешнего раздражителя: в самом деле, кажется, что он обусловлен изнутри и свидетельствует об определенной установке ума. Но здесь-то и начинается неясность, потому что идея интеллектуальной установки к числу ясных не принадлежит. Одни говорят о "концентрации духа" или об "апперцептивном" усилии, чтобы подвести восприятие под надзор особого, отличного от него ума. Другие, материализуя эту идею, предполагают особое напряжение мозговой энергии или даже центральный источник энергии, добавляющийся к воспринятому извне раздражению. Но таким образом мы либо ограничиваемся переводом психологически констатируемого факта на физиологический язык, который кажется еще менее ясным, либо все время прибегаем к метафоре.

В конце концов приходится определять внимание скорее как общее приспособление тела, чем духа, и видеть в этой установке сознания прежде всего сознание определенной установки. На эту точку зрения стал Т.Рибо, и хотя она

оспаривалась, но, по-видимому, сохранила все свое значение, конечно, при условии, как нам кажется, если в движениях, описанных Т.Рибо, видеть только отрицательное условие феномена внимания. В самом деле, предположив, что движения, сопровождающие произвольное внимание, – это по преимуществу движения торможения, пришлось бы еще объяснять соответствующую им работу духа, то есть ту таинственную операцию, благодаря которой тот же самый орган, воспринимая в том же окружении тот же самый предмет, открывает в нем возрастающее число свойств. Но можно пойти дальше и утверждать, что явления торможения – это только приготовления к действительным движениям произвольного внимания. В самом деле, допустим, как мы уже предварительно отмечали, внимание предполагает движение вспять ума, который перестает извлекать полезные следствия из наличного восприятия: тогда прежде всего будет иметь место подавление движения, действие торможения. К этой общей установке вскоре присоединяются более тонкие движения, часть из которых была замечена и описана. Их роль состоит в том, чтобы вновь обвести контуры воспринимаемого. Эти движения кладут начало положительной

Marillier, Remarques sur le mécanisme de l'attention (Revue Philosophique, 1889,

t. XXVII). – См. Ward – статья Psychology в Encyclop. Britannica, и Bradley, Is there a

special activity of Attention? (Mind, 1886, t. XI, p. 305).

^ Hamilton, Lectures on Metaphysics, 11 p. 247

~ Wundt, Psychologie physiologique, t. II p. 231 et suiv. (d. F. Alcan).

Maudsley, Physiologie de l'esprit, p. 300 et suiv. – См. Bastian, Les processus nerveux dans l'attention (Revue philosophique, t. XXXIII, p. 360 et suiv.). ^ W. James, Principles of psychology, vol. I, p. 441. ° Psychologie de l'attention, Paris, 1889, (d. F. Alcan).

Merillier, цитир. ст. См. J. Sully, The psycho-physical process in Attention. (Brain, 1890, p. 154.).

N. Lange, Beitr. zur Theorie der sinnlichen Aufmerksamkeit (Philos. Studient. VII, p. 390–422).

222 Образы-воспоминания и движения

(то есть уже не просто отрицательной) работе внимания, которая находит продолжение, благодаря воспоминаниям.

В самом деле, если внешнее восприятие вызывает с нашей стороны движения, вычерчивающие его главные линии, то наша память направляет на полученное восприятие схожие с ним прошлые образы, набросок которых был уже намечен нашими движениями. Таким образом она заново воссоздает наличное восприятие или, скорее, дублирует это восприятие, накладывая на него то его собственный образ, то образ-воспоминание того же рода. Если удержанный или восстановленный в памяти образ не покрывает всех деталей воспринятого образа, то вызываются более глубокие и отдаленные регионы памяти, до тех пор, пока другие уже известные детали не спроецируются на неузнанные, незнакомые. Такой процесс может продолжаться без конца, так как память укрепляет и обогащает восприятие, которое, в свою очередь, развиваясь все более и более, притягивает к себе все большее число дополнительных воспоминаний. Итак, не будем больше представлять себе дух, располагающий каким-то, не знаю каким именно, количеством света,

который он то рассеивает вокруг, то сосредоточивает на одной точке. Если уж нужно прибегнуть к сравнению, мы предпочитаем сравнить элементарную работу внимания с работой телеграфиста, который, получив важную депешу, буква за буквой телеграфирует ее обратно для проверки содержания.

Но чтобы отослать депешу обратно, надо уметь обращаться с аппаратом. Точно так же, чтобы спроецировать на восприятие его образ, усвоенный нами, надо, чтобы мы могли его воспроизвести, то есть воссоздать усилием синтеза. Считалось, что внимание – аналитическая способность, и для этого были основания; но при этом недостаточно объяснялось, ни как возможен анализ такого рода, ни с помощью какого процесса мы достигаем открытия в восприятии того, что сначала в нем не обнаруживалось. Дело в том, что анализ этот осуществляется через ряд попыток синтеза или, что сводится к тому же, через ряд гипотез: наша память раз за разом выбирает различные аналогичные образы, которые отсылает в направлении нового восприятия. Выбор этот происходит не случайно. Гипотезы наводятся, и селекция на расстоянии направляется теми движениями иммитации, в которых продолжается восприятие и которые служат общей рамкой и для восприятия, и для вспоминаемых образов.

Но тогда следуют представить себе механизм отдельного восприятия иначе, чем это обычно делают. Восприятие состоит не только из впечатлений, полученных или даже выработанных умом. Это можно сказать разве что о тех восприятиях, которые рассеиваются сразу после их получения, переходя в полезные действия. Но всякое внимательное восприятие предполагает рефлексию в этимологическом смысле этого слова, то есть внешнюю проекцию активно создаваемого образа, тождественного или подобного предмету и стремящегося слиться с его контурами. Если, пристально посмотрев на предмет, мы внезапно отводим от него взгляд, то получаем его вторичный образ: не следует ли предположить, что этот образ вырабатывался уже во время разглядывания предмета? Недавнее открытие центробежных воспринимающих волокон позволяет думать, что дело, как правило, так и обстоит и что наряду с

Память и мозг 223

афферентным процессом, переносом впечатления в центр, существует другой, противоположный процесс возвращения образа к периферии. Правда, речь здесь идет об образах, сфотографированных с самого предмета, и о воспоминаниях, немедленно следующих за восприятием, составляющих как бы его эхо. Но позади этих образов, тождественных с предметом, существуют другие, накопленные в памяти, которые просто похожи на него, и, наконец, образы, имеющие с ним лишь более или менее отдаленное родство. Все они поступают навстречу восприятию и, напитавшись его субстанцией, приобретают достаточную силу и жизнь, чтобы экстериоризироваться вместе с ним. Опыты Мюнстерберга и Кюльпене оставляют в отношении этого последнего пункта никакого сомнения: всякий образ-воспоминание, способный пояснить наше наличное восприятие, до такой степени проникает в него, что мы не можем уже различить, где восприятие, а где воспоминание. Но с этой точки зрения особенно интересны остроумные опыты Гольдшайдера и Мюллера, касающиеся механизмов чтения.

Вопреки Грасхею, утверждавшему в известной работе, что мы читаем слова букву за буквой, эти исследователи установили, что беглое чтение представляет собой настоящую работу отгадывания: наш ум схватывает отдельные характерные черты слов и заполняет все оставшиеся интервалы образами-воспоминаниями, которые, проецируясь на бумагу, заменяют действительно напечатанные буквы и создают их иллюзию. Таким образом, мы непрерывно создаем или восстанавливаем. Каждое отдельное наше восприятие можно сравнить с замкнутым кругом, где образ-восприятие, поступающий уму, и образ-воспоминание, проецируемый в пространство, вытесняют друг друга.

Остановимся на этом последнем пункте. Внимательные восприятия часто представляют себе как ряд процессов, составляющих некую единую нить: предмет возбуждает ощущения, ощущения вызывают идеи, каждая идея, одна за другой, приводит в действие более отдаленные точки умственной массы. Согласно этому представлению,

имеет место некий прямолинейный маршрут, следуя которому, ум все дальше и дальше удаляется от предмета, чтобы больше к нему уже не возвращаться. Мы же, напротив, думаем, что рефлексированное восприятие представляет собой кольцо, где все элементы, включая воспринятый предмет, находятся в состоянии взаимного напряжения, как в электрической цепи, так что ни одно возбуждение, исходящее от предмета, не может по пути затеряться в глубинах ума: оно должно возвратиться к самому предмету. Не надо думать, что вопрос здесь только в словах. Речь идет о двух радикально различных концепциях работы интеллекта. Согласно первой, все происходит механически, посредством совершенно случайного ряда последовательных соединений, – например, в любой момент внимательного восприятия новые элементы, исходящие из более глубоких областей духа, могут присоединиться к старым элементам, не вызывая общей пертурбации, не требуя видоизменения си-

Beitr. zur experimentellen psychologie унефт 4, p. 15etsuiv.

Grundriss der Psychologie, Leipzig, 1893, p. 185.

Zur Physiologie und Pathologie des Lesens (Zeitschr. f. klinische Mediän, 1893). Cf. McKeen Cattell, Über die Zeit der Erkennung von Schriftzeichen (Philos. Studien, 1885 – 86). Über Aphasie und ihre Beziehungen zur Wahrnehmung (Arch. f. Psychiatrie, 1885, t. XVI).

224

Образы-воспоминания и движения

стемы. Согласно второй, наоборот, акт внимания предполагает такую солидарность между умом и его объектом, это столь прочно замкнутое кольцо, что невозможно перейти к состояниям более высокой концентрации, не создавая новых колец, которые охватывают первое и между которыми нет ничего общего, кроме воспринятого объекта. Из этих различных кругов памяти, которые мы детально изучим позже, наиболее узкий круг А находится ближе всего к непосредственному восприятию. Он содержит в себе только сам объект О и непосредственно следующий образ, который только что с ним совпадал. Находящиеся за ним круги В, С, D, все более широкие, соответствуют возрастающим усилиям интеллектуальной экспансии. Как мы увидим, поскольку память постоянно присутствует и не может быть устранена, она целиком входит в каждое из этих колец, но так как в силу своей эластичности она может растягиваться до бесконечности, масса воспринятого, проецируемая ею на предмет, увеличивается: добавляются детали самого предмета, сопутствующие подробности, могущие способствовать его появлению. Таким образом, после восстановления воспринятого предмета в виде некоторого независимого целого мы постепенно восстанавливаем

вместе с ним все более и более отдаленные условия, с которыми он образует систему. Обозначим В', С', D' эти все углубляющиеся причины, образующие фон предмета и виртуально данные вместе с ним. Мы видим, что усилие внимания приводит к воссозданию не только увиденного предмета, но и все более обширных систем, с которыми он может быть связан, так что по мере того, как круги В, С, D представляют все более глубокую экспансию памяти, их отражение достигает в В', С', D' все более глубоких пластов действительности.

То же самое психологическое переживание может повторяться, таким образом, бесконечное число раз в последовательных слоях памяти, и один и тот же духовный акт может разыгрываться на самых различных высотах. Дух всегда целиком отдается усилию внимания, но его проявления упрощаются или усложняются в зависимости от избираемого им уровня саморазвития. Ориентация нашего духа обычно определяется наличным восприятием, но в зависимости от выбираемой им степени напряжения, уровня, на котором он располагается, это восприятие развивает в нас большее или меньшее число воспоминаний-образов.

Другими словами, точно локализованные личные воспоминания, ряд которых мог бы дать очерк всего течения нашего прошлого существования, составляют, в совокупности, последнюю, наиболее обширную обо-

Память и мозг 225

лочку нашей памяти. Мимолетные по своей сути, они материализуются только случайно и вызываются или каким-то строго определенным положением, нечаянно принятым нашим телом, или когда сама неопределенность положения тела дает свободное поле их произвольному проявлению. Но эта крайняя оболочка сжимается и повторяется во внутренних концентрических кругах; эти более узкие круги несут те же воспоминания, но обедненные, все более далекие от своей индивидуальной и оригинальной формы, все более способные из-за своей банальности быть примененными к наличному восприятию и определить его, как род определяет входящее в него единичное. Настает момент, когда таким образом редуцированное воспоминание так точно накладывается на наличное восприятие, что уже нельзя сказать, где кончается восприятие и где начинается воспоминание. В этот строго определенный момент память не вызывает и не вытесняет свои представления произвольно, но следует каждой детали телесных движений.

По мере того, как эти воспоминания приближаются к движению, а тем самым к внешнему восприятию, действие памяти приобретает все большее практическое значение. Образы прошлого, воспроизведенные как таковые со всеми своими деталями, включая аффективную окраску, – это образы мечтания или сна: то, что мы называем действием, как раз и состоит в достижении сжатия или, скорее, все большей отточенности этой памяти, до тех пор, пока она не будет представлять собой лишь лезвие, раскраивающее тот опыт, в который проникает. Долю автоматизма в вызове воспоминаний то не признавали, то преувеличивали в основном потому, что не отделяли здесь моторный элемент от памяти. Нам же представляется, что побуждение к деятельности мы испытываем в тот, и именно в тот момент, когда наше восприятие автоматически распределилось и разложилось, продолжившись в движениях имитации: с этого момента мы обладаем эскизом действия, детали и окраску которого восстанавливаем, проецируя на него более или менее отдаленные воспоминания. Однако обычно положение вещей описывается совершенно иначе. Иногда духу приписывают абсолютную автономию, наделяя его способностью обращаться с наличными и отсутствующими вещами по своему произволу, но в этом случае становятся совершенно непонятными глубокие расстройства внимания и памяти, могущие последовать за малейшим нарушением сенсомоторного равновесия. Иногда же, наоборот, процессы воображения превращают в ряд механических следствий наличного восприятия: предполагается, что путем необходимого и однообразного поступательного движения объект вызывает ощущения, а ощущения – идеи, которые образуют с ним сцепление; но так как нет никаких оснований предполагать, что явление, изначально механическое, изменило затем свою природу, то приходят к гипотезе такого мозга, где могли бы откладываться, дремать и пробуждаться интеллектуальные состояния. Как в том, так и в другом случае остается непризнанной настоящая функция тела, и поскольку не знают, в чем состоит необходимость вмешательства физиологического механизма, тем более не знают, где следует прекратить это вмешательство после того, как к нему прибегли.

Нр пора ли, однако, выйти за пределы этих общих понятий? Нам надо исследовать, подтверждается или опровергается наша гипотеза

8 Зак. № 388

226 Образы-воспоминания и движения

известными фактами церебральных локализаций. Расстройства образной памяти, соответствующие локальным поражениям мозговой коры, – это всегда болезни узнавания: то ли зрительного или слухового узнавания в целом (психическая слепота или глухота), то ли узнавания слов (словесная слепота, словесная глухота

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
и т. д.). Эти расстройства, таким образом, мы и должны исследовать.

Если наша гипотеза обоснована, то эти нарушения узнавания происходят вовсе не от того, что воспоминания занимали пораженные области. Они должны зависеть от двух причин: или наше тело не может автоматически принимать, при наличии поступившего извне возбуждения, то определенное положение или установку, посредством которой можно было бы осуществить селекцию наших воспоминаний, или эти воспоминания не находят больше в теле точки приложения, способа продолжиться в действии. В первом случае поражение распространяется на механизмы, продолжающие полученное возбуждение в автоматическое движение, и внимание перестает фиксироваться объектом. Во втором случае поражены те особые центры коркового слоя, которые подготавливают волевые движения, обеспечивая им необходимые сенсорные предпосылки, и которые называют, правильно или неправильно, центрами возбуждения: при этом внимание не может быть фиксировано субъектом. Но как в том, так и в другом случае будут лишь нарушены актуальные движения или не будут подготовлены движения, которым только предстояло совершиться: разрушения же воспоминаний не произойдет.

Патология подтверждает это положение. Она обнаруживает существование двух совершенно различных видов психической слепоты и глухоты. В первой разновидности зрительные и слуховые воспоминания еще вызываются соответствующими восприятиями, но уже не могут быть применены к ним. Во второй – нарушен сам вызов воспоминаний. Действительно ли, как мы говорили, в первом случае поражение затрагивает сенсорные механизмы автоматического внимания, а во втором – имажинативные механизмы произвольного внимания? Для проверки нашей гипотезы мы можем ограничиться одним конкретным примером. Мы могли бы, конечно, показать, что зрительное узнавание вещей вообще и слов в частности предполагает сперва полуавтоматический моторный процесс, а затем активную проекцию воспоминаний, которые вписываются в соответствующие двигательные установки. Но мы предпочитаем остановиться на слуховых впечатлениях и, в особенности, на слуховом восприятии членораздельной речи, потому что пример этот наиболее нагляден. В самом деле, воспринимать речь означает сначала узнавать ее звучание, затем обнаруживать смысл и, наконец, более или менее далеко продвигаться в его истолковании, то есть, короче говоря, проходить все уровни внимания и использовать многие последовательные возможности памяти. Кроме того, нарушения аудитивной словесной памяти чаще всего встречаются и лучше всего изучены. Наконец, потеря слуховых словесных образов всегда сопровождается серьезными поражениями извилин коркового слоя: в нашем распоряжении, следовательно, оказывается бесспорный пример локализации, опираясь на который, мы бы могли выяснить, действительно ли мозг способен накапливать воспоминания. Мы должны, таким образом, про-

Память и мозг 227

демонстрировать на примере аудитивного узнавания слов: 1. Автоматический сенсомоторный процесс; 2. Активную и, так сказать, эксцентрическую проекцию воспоминаний-образов.

1. Я слушаю, как два человека разговаривают на неизвестном мне языке. Достаточно ли этого для того, чтобы я их понимал?

Колебания, до меня доходящие, не отличаются от тех, которые действуют на их слух. Однако же я воспринимаю только смутный шум, где все звуки между собой сходны. Я ничего не различаю и не могу ничего повторить. Между тем, в той же звуковой массе оба собеседника различают согласные, гласные и слоги, не сходные между собой, наконец, выделяет отдельные слова. В чем разница между ними и мной?

Вопрос в том, чтобы понять, как знание языка, которое представляет собой не что иное, как воспоминание, может изменить содержание наличного восприятия и сделать актуально слышимым для одних то, чего другие при тех же физических условиях не слышат. Предполагают, скажем, что словесные слуховые воспоминания, накопленные в памяти, отвечают на воздействие звуковых впечатлений и усиливают их влияние. Но

если беседа, которую я слышу, оказывается для меня простым шумом, можно предположить, что звук усилится во сколько угодно раз, – шум, сделавшись громче, не станет при этом яснее. Чтобы словесное воспоминание могло быть вызвано воспринятым словом, надо, чтобы ухо, по крайней мере, это слово слышало. Как воспринятые звуки вступят в диалог с памятью, как они выберут в хранилище звуковых образов те образы, которые должны на них наложиться, если они уже заранее не были разделены, различены, наконец, восприняты как слоги и как слова?

Это затруднение, по-видимому, не оказало достаточного воздействия на теоретиков сенсорной афазии. В самом деле, при словесной глухоте больной в отношении своего родного языка оказывается в том же положении, в котором мы находимся, слушая, как говорят на языке, нам неизвестном. Обычно он сохраняет слух, но не понимает произносимых слов и часто не может даже их различить. Для объяснения этого состояния считается достаточным указать, что слуховые словесные воспоминания разрушены в корковом слое, или сказать, что повреждение коры головного мозга в целом или подкорки препятствует слуховому воспоминанию вызвать идею, или мешают восприятию соединиться с воспоминанием. Но по крайней мере в последнем случае остается незатронутым психологический вопрос: что это за психический процесс, который уничтожается этим повреждением? Посредством чего вообще происходит различение слов и слогов, первоначально данных слуху в виде звуковой непрерывности?

Если мы действительно имели дело только со слуховыми впечатлениями, с одной стороны, и слуховыми воспоминаниями, с другой, этот вопрос был бы неразрешим. Но он не был бы неразрешимым, если бы слуховые впечатления организовывали зарождающиеся движения, способные воспроизвести слышимую фразу и отметить ее главные артикуляции. Эти автоматические действия внутреннего аккомпанемента, сперва смутные и плохо скоординированные, повторяясь, все больше и больше бы при этом определялись, и в конце концов вырисовалась бы некая упрощенная фигура, в которой слушающий воспроизводил бы в

228 Образы-воспоминания и движения

основных чертах и главных направлениях движения говорящего. Таким образом, в нашем сознании в виде зарождающихся мышечных ощущений развертывалось бы то, что мы будем называть моторной схемой услышанной речи. Обучение слуха элементам нового языка будет тогда состоять не в модификации необработанного звука и не в том, чтобы присоединить к нему воспоминание, а в том, чтобы координировать двигательные усилия голосовых связок со слуховыми впечатлениями, то есть усовершенствовать моторный аккомпанемент.

Чтобы освоить какое-то физическое упражнение, мы начинаем с имитации движения в целом, как оно зрительно воспринимается нами извне, и так, как оно, на наш взгляд, осуществляется. Его восприятие нами было смутным – нечетким будет и наше движение, пытающееся его повторить. Но если наше зрительное восприятие было восприятием непрерывного целого, то движение, посредством которого мы стремимся воспроизвести его образ, состоит из множества мышечных сокращений и напряжений. Кроме того, само осознание его нами содержит в себе многообразные ощущения, вызванные переменной игрой артикуляции. Нечеткое движение, имитирующее образ, уже, следовательно, представляет собой его виртуальное разложение; оно несет в себе, так сказать, возможность самоанализа. Совершенствование этого движения благодаря повторению и упражнению будет состоять просто в расчленении того, что было сперва слитно, в том, чтобы придать каждому из элементарных движений ту автономность, которая делает его отчетливым, полностью сохраняя его согласованность с другими движениями, без которых оно было бы бесполезным. Не без основания говорят, что привычка приобретается повторением усилия; но какой толк был бы в повторном усилии, если бы оно всегда воспроизводило одно и то же? Подлинный эффект повторения состоит в том, чтобы сначала разложить, а потом воссоединить движение и таким образом обратиться к разуму тела, его способности понимания. С каждой новой попыткой повторение развивает неразвитые движения, всякий раз привлекая внимание тела к новой подробности, прошедшей ранее незамеченной; оно заставляет тело разделять и классифицировать, помогает ему выделить существенное и одну за другой обнаруживает в тотальности движения

линии, обозначающие его внутреннюю структуру. В этом смысле движение выучено с того момента, когда оно понято телом.

Именно таким образом моторный аккомпанемент воспринимаемой на слух речи может артикулировать непрерывность звуковой массы. Остается выяснить, что собой представляет этот аккомпанемент. Может быть, это та же самая речь, только воспроизведенная изнутри? Но в таком случае ребенок мог бы повторить все слова, различаемые его ухом, и нам достаточно было бы понимать иностранный язык, чтобы говорить на нем с правильным акцентом. Однако дело обстоит далеко не так просто. Я могу уловить мелодию, следовать ее рисунку, даже закрепить ее в памяти и при этом не уметь ее спеть. Я легко различаю особенности ударения и интонации англичанина, говорящего по-немецки, – значит, внутренне я его поправляю. Из этого, однако, не следует, что я придам верное ударение и интонацию этой немецкой фразе, если произнесу ее сам. Повседневные наблюдения нашли здесь недавно подтверждение клиническими фактами: оказалось, что можно

Память и мозг 229

сохранять способность следить за речью и понимать ее, потеряв способность говорить. Двигательная афазия не влечет за собой словесной глухоты.

Дело в том, что схема, посредством которой мы артикулируем слышимую речь, обозначает только ее основные контуры. Для речи это то же самое, что набросок для законченной картины. Понять сложное движение и быть в состоянии его выполнить – это две действительно разные вещи. Чтобы его понять, достаточно выявить, что в нем существенно, – ровно настолько, чтобы отличить от других возможных движения. Но чтобы уметь его выполнить, надо кроме того сделать его понятным для своего тела. А логика тела не признает недомолвок. Она требует, чтобы все конститутивные элементы требуемого движения были один за другим показаны, а затем соединены вместе. Здесь уже нужен полный анализ, не пренебрегающий ни одной деталью, а затем действительный синтез, без всяких сокращений. Схема воображения, образованная несколькими зарождающимися мышечными ощущениями, была всего лишь эскизом. Действительное и полное переживание мышечных ощущений придает ей краску и жизнь.

Остается узнать, как аккомпанемент такого рода может быть осуществлен и всегда ли он реально имеет место. Известно, что произношение слова вслух требует одновременного участия языка и губ для осуществления артикуляции, гортани для фонации и, наконец, мышц грудной клетки для образования потока выдыхаемого воздуха. Каждому произнесенному слогу соответствует, стало быть, действие совокупности механизмов, находящихся в центрах спинного и продолговатого мозга. Эти механизмы соединены с высшими центрами головного мозга продолжениями осевых цилиндров пирамидальных клеток психомоторной области: по этим путям и идет волевой импульс. Таким образом, когда мы хотим произнести тот или другой звук, мы передаем приказы действовать соответственно тому или другому из этих двигательных механизмов. Но если эти готовые, вполне законченные механизмы, отвечающие различным возможным движениям артикуляции и фонации, безусловно связаны с определенными причинами, приводящими их в действие в произвольной речи, существуют факты, несомненно доказывающие связь этих же механизмов и со слуховым восприятием слов. Среди многочисленных форм афазии, описанных клиницистами, такого рода связь предполагают, по-видимому, две формы (4-ая и 6-ая формы Лихтхайма). Так, в одном случае, наблюдавшемся самим Лихтхаймом, больной после падения утратил память артикуляции слов и, как следствие, способность самопроизвольной речи, – но при этом чрезвычайно точно повторял то, что ему говорили. С другой стороны, в тех случаях, когда самопроизвольная речь не нарушена, но при этом словесная глухота носит абсолютный характер и больной не понимает ничего из того, что ему говорят, способность повторять речь другого человека может быть тем не менее полностью сохранена.

Можно ли сказать вместе с Бастианом, что явления эти свидетельствуют просто о заторможенности артикуляционной памяти или слухо-

Lichthfeim, On Aphasia (Brain, janv. 1885, p. 447). Ibid., i>.454.

230 Образы-воспоминания и движения

вой памяти слов, так что звуковые впечатления служат только для их пробуждения от оцепенения?

Эта гипотеза, которой мы в свое время уделим внимание, не объясняет, на наш взгляд, тех интересных явлений эхолалии, давно отмеченных Ромбергом (Дуазеноми Уинслоу, которые Кусмауль назвал (конечно, несколько преувеличенно) звуковыми рефлексам). В этих случаях пациент машинально и, может быть, бессознательно повторяет услышанные слова, как будто слуховые ощущения сами собой превращаются в движения членораздельной речи. Исходя из этого, некоторые исследователи предположили некий особый механизм, соединяющий центр акустического восприятия слов с центром членораздельной речи. Истина, по-видимому, лежит между этими двумя гипотезами: разнообразия явления эхолалии представляют собой нечто большее, чем только механические акты, но меньшее, чем процесс произвольной памяти, — они свидетельствуют о тенденции вербальных впечатлений найти продолжение в движениях артикуляции, тенденции, которая, конечно, не избегает обычного контроля со стороны нашей воли, может быть, содержит в себе даже некое рудиментарное различие и при нормальном психофизическом состоянии выражается во внутреннем повторении ключевых моментов воспринимаемой речи. Но тоже самое представляет собой и наша двигательная схема.

Углубив эту гипотезу, мы, возможно, найдем в ней требуемое психологическое объяснение определенных форм словесной глухоты, о которых мы недавно говорили. Известно несколько случаев словесной глухоты при полном сохранении звуковых воспоминаний. Больной сохранил без повреждений и слуховую память, и слуховое восприятие, однако не узнает ни одного слова, которое слышит. В этом случае предполагают какое-то подкорковое поражение, которое мешает звуковым впечатлениям достигать вербальных образов в центрах коры головного мозга, где они вроде бы откладываются. Но для начала следовало бы выяснить, может ли мозг накапливать образы. Кроме того, даже констатация нарушений в проводящих каналах восприятия не избавила бы нас от необходимости искать психологическую интерпретацию этого феномена. В самом деле, согласно гипотезе, слуховые воспоминания могут быть вызваны сознанием, осознаны, и опять-таки согласно гипотезе, слуховые впечатления также доходят до сознания, а следовательно, в самом сознании должен быть пробел, разрыв, что-то, наконец, что препятствует слиянию восприятия и воспоминания. Между тем, все становится ясным, если вспомнить, что первоначальное, еще не обработанное слуховое восприятие представляет собой по сути дела восприятие звуковой непрерывности и что установленные при-

Bastian, On different kinds of Aphasia (British Medical journal, oct. et nov. 1887, p. 935).

~ Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 1853, t. II.

. * Цитируется Бейтманом: Bateman, On Aphasia, London, 1890, p. 79. См. Марс; M; moire

sur quelques observations de physiologie pathologique (M; m. de la Soc. de Biologie, 2-e s; rie, t.

ш, p. 102).

Winslow, On obscure diseases of the Brain, London, 1861, p. 505.

Kussmaul, Les troubles de la parole, Paris, 1884, p. 69 et suiv.

Arnaud, Contribution à l'étude clinique de la surdité verbale (Arch. de Neurologie. 1886, p. 192). – Spamer, De l'Asymbolie (Arch. f. Psychiatrie, t. VI, p. 507 et 524).

См. в особенности: P. Sériex, Sur un cas de surdité verbale pure (Revue de Médecine, 1893, p. 733 et suiv.) ; Lichtheim, цитир. статья, p. 461 ; и Arnaud, Contribution à l'étude de la surdité verbale (2-ая статья), Arch. de Neurologie, 1886, p. 366.

Память и мозг 231

вычкой сенсомоторные сцепления должны при нормальных условиях эту непрерывность расчленять. Повреждение этих механизмов сознания, мешая осуществиться расчленению непрерывного звучания, сразу прекратило бы поток воспоминаний, стремящихся наложиться на соответствующие восприятия. Повреждение могло бы распространиться, таким образом, и на "двигательную схему". Перейдем к обзору случаев – довольно, впрочем, редких – словесной глухоты с сохранением звуковых воспоминаний: как нам кажется, это поможет отметить некоторые весьма характерные в этом отношении детали. Адлер отмечает как примечательный факт, что при словесной глухоте больные больше не реагируют даже на интенсивные шумы, сохраняя в то же время очень большую тонкость слуха. Другими словами, звук не находит больше у них моторного отклика. Один из пациентов Шарко, страдавший преходящей словесной глухотой, рассказывает, что он хорошо слышал бой своих часов, но не мог сосчитать удары. Вероятно, он не мог их разделить и различить. Другой больной заявлял, что он слышит разговор, но как какой-то смутный шум. Наконец, субъект, потерявший способность понимать разговорную речь, восстанавливает ее, если ему многократно повторяют одно определенное слово, особенно если его внятно произносят слог за слогом. Этот последний факт, установленный во многих совершенно ясных случаях словесной глухоты с сохранением звуковых воспоминаний, особенно показателен.

Стрикерошибался, думая, что слышимая речь полностью повторяется изнутри. Это опровергается уже тем простым фактом, что неизвестно ни одного случая моторной афазии, вызванного словесной глухотой. Но все факты говорят в пользу существования двигательной тенденции к расчленению звуков, установлению их схемы. Эта автоматическая тенденция, как мы уже сказали, осуществляется не без определенного участия интеллектуальной работы: иначе как могли бы мы отождествлять между собой и, следовательно, сравнивать при помощи одной схемы одинаковые слова, но произнесенные более или менее высоко или низко и голосами различного тембра? Эти внутренние движения повторения и узнавания представляют собой как бы прелюдию к произвольному вниманию. Они обозначают границу между волей и автоматизмом. Ими подготавливаются и определяются, как мы уже отчасти указали, явления, характерные для интеллектуального узнавания. Но что собой представляет это узнавание в полном смысле слова, целиком достигшее сознания о самом себе?

2. Мы приступаем ко второй части нашего исследования и переходим от движений к воспоминаниям. Узнавание, сопровождающееся вниманием, как мы сказали, – это настоящий цикл, где внешний предмет обнаруживает нам все более и более глубокие свои стороны, по мере того, как наша симметрично расположенная память все больше и больше

Adler, Beitrag zur Kenntniss der seltneren Formen von sensorischer Aphasie (Neurol. Centralblatt, 1891, p. 296, 297).

2 Bernard, De l'aphasie, Paris, 1889, p. 143.

2 Balet. Le langage intérieur, Paris, 1888, p. 85. (E. Felix Alcan).

См. три случая, приводимые Арно в Archives de Neurologie, 1866 p. 366 et suiv. (Contribution clinique à l'étude de la surdité verbale, 2-я статья) – См. случай Шмидта: Stumidi, GVMirs- und Sprachstörung in Folge von Apoplexie (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, 1871, I. XX VII, p. 304. Stricker, Du langage et de la musique, Paris, 1885.

232 Реализация воспоминаний

ше напрягается и расширяется, чтобы проецировать на него воспоминания. В интересующем нас частном случае предмет – это говорящий человек, идеи которого развиваются у него в сознании в звуковые представления, чтобы потом материализоваться в произнесенных словах. Если мы правы, то его слушатель должен сразу войти в круг соответствующих идей и развить их в ауди-тивные представления, которые наложатся на воспринятые звуки, сами при этом включаясь в двигательную схему. Следить за вычислением означает воспроизводить его самостоятельно. Понимать чужую речь также означает мысленно, то есть исходя из идей, восстанавливать ту непрерывность звуков, которую воспринимает ухо. В более общей форме можно сказать, что "обращать внимание", "осмысленно узнавать", "истолковывать" – означает одно и то же действие, посредством которого разум, установив требуемый уровень понимания, выбрав в самом себе по отношению к необработанным восприятиям определенную позицию, симметричную более или менее отдаленной их причинности, направляет на эти восприятия накладывающийся на них поток воспоминаний.

Сразу скажем, что обычно все это описывается совершенно иначе. Всегда наготове наши ассоцианистские привычки, которые заставляют нас представлять, будто бы звуки вызывают сопряженные с ними слуховые воспоминания, а слуховые воспоминания – соответствующие идеи. Кроме того, существуют церебральные нарушения, которые как будто влекут за собой исчезновение воспоминаний: в частности, в интересующем нас случае можно сослаться на характерные корковые нарушения при словесной глухоте. Таким образом, психологическое наблюдение вроде бы согласуется с клиническими фактами. В коре головного мозга можно было бы допустить существование дремлющих в ней звуковых представлений в виде, например, физико-химических модификаций ее клеток: возбуждение, приходящее извне, пробуждает их, и посредством внутримозгового процесса (может быть, с помощью внут-рикорковых движений, отыскивающих дополнительные представления) они вызывают идеи.

Задумаемся, однако же, над странными выводами, следующими из такого рода гипотезы. Слуховой образ слова – это не предмет, обладающий определенно очерченными контурами: одно и то же слово, произнесенное разными голосами или тем же голосом на различных высотах, звучит по-разному. Следовательно, слуховых воспоминаний одного слова будет столько же, сколько существует высот звука и тембров голоса. Все ли эти образы собраны в мозгу, и если нет, и мозг производит отбор, то какому из них он отдает предпочтение? Допустим, однако, что он имеет основание для выбора одного из них: каким образом то же самое слово, но сказанное новым лицом, соединится с воспоминанием, от которого оно отличается? Заметим вдобавок, что воспоминание это, согласно гипотезе, вещь инертная и пассивная, не способная, следовательно, улавливать под внешними различиями внутреннее подобие. О слуховом образе слова говорят, как если бы это была сущность или род: конечно, эта сущность, или этот род, существует для активной памяти, схематизирующей сходство сложных звуков, но для мозга, который регистрирует и не может ничего иного зарегистрировать, кроме материи воспринимаемых звуков, будут существовать тысячи и тысячи раз-

Память и мозг 233

личных образов одного слова. Произнесенное новым голосом, слово это конституирует новый образ, который просто-напросто присоединяется к другим, предыдущим.

Но вот еще не меньшее препятствие. Слово обретает для нас индивидуальность только с того дня, когда наши учителя научат нас его выделять. Сначала мы учимся произносить не слова, а фразы. Слово всегда сочленено с другими словами, и в зависимости от построения и движения фразы, интегральную часть которой составляет слово, оно приобретает различные аспекты, – так каждая нота мелодии смутно отражает в себе всю мелодию целиком. Допустим теперь, что существуют образцы слуховых воспоминаний в виде определенных внутримозговых диспозиций, ожидающие слуховых впечатлений: эти впечатления пройдут, не будучи узнаваемыми. В самом деле, где общая мера, где точка соприкосновения между этим обедненным, инертным, изолированным образом и живой реальностью слова, органически связанного с фразой? Я прекрасно понимаю, что собой представляет начало автоматического узнавания, если оно состоит, как мы видели выше, в выделении принципиальных артикуляций фразы, в усвоении ее движения. Но если не предположить, что все люди говорят одинаковыми голосами и произносят одинаковым тоном стереотипные фразы, я не представляю, как услышанные слова могут достичь совпадения со своими образами в коре головного мозга.

Кроме того, если действительно существуют воспоминания, хранящиеся в клетках мозговой коры, то, например, при сенсорной афазии должна была бы отмечаться невозможная утрата определенных слов при полном сохранении других. Фактически же дело происходит иначе. Или же воспоминания исчезают целиком, когда способность ментального слуха целиком и начисто пропадает, или же мы наблюдаем общее ослабление этой функции; но обычно имеет место именно уменьшение силы функции, а не уменьшение числа воспоминаний. Кажется, что у больного больше нет сил, чтобы восстановить и уловить свои слуховые воспоминания, что он кружится около словесного образа и не может на нем остановиться. Для того, чтобы он нашел слово, часто достаточно дать ему направление, подсказать первый слог или просто прибодрить. То же действие может оказать эмоция.

Однако же есть случаи, когда в самом деле кажется, что определенные группы представлений изгладились из памяти. Мы расследовали большое число таких фактов, и нам показалось, что их можно разделить на две совершенно различные категории. В случаях первой категории потеря воспоминаний обычно внезапна, в случаях второй – поступательна. В первой категории случаев из памяти выпадают слуховые воспоминания, подобранные произвольно и даже капризно: это могут быть какие-то слова, цифры или, зачастую, все слова выученного языка. Во второй слова исчезают в строгом грамматическом порядке, как у Bernard, op. cit., p. 172 et 179. См. Babilon, Les troubles de la mémoire dans l'alcoolisme. Paris, 1886 (thèse de médecine), p. 44.

Rieger, Beschreibung der Intelligenzstörungen in Folge einer Hirnverletzung, Würzburg, 1884, p. 35.

Wernicke, Der aphasische Symptomencomplex, Breslau, 1874, p. 39. – См. Valentin, Sur un cas d'aphasie d'origine traumatique (Rev. médicale de l'Est, 1880, p. 171).

234 Реализация воспоминаний

Этот закон был установлен законом Рибо: в первую очередь пропадают имена собственные, потом нарицательные и наконец глаголы.

Таковы внешние различия. Теперь же рассмотрим то, что, как нам кажется, составляет различие внутреннее. Мы склонны думать, что при амнезиях первого рода, почти всегда наступающих вслед за сильным потрясением, воспоминания, которые кажутся исчезнувшими, на самом деле не только сохраняются в наличии, но

и действуют. Возьмем часто заимствуемый пример Уинслоу– случай больного, позабывшего букву F, одну только букву F, и зададимся вопросом, можно ли абстрагироваться от одной определенной буквы всюду, где она встречается, а значит, отделить ее от произносимых или написанных слов, с которыми она образует единое целое, если эта буква не была сначала имплицитно опознана? В другом случае, приведенном тем же автором, пациент забыл языки, которые изучал, и им же самим написанные стихотворения. Вновь начав сочинять, он воспроизводил почти те же самые стихи. К тому же весьма часто в этих случаях наблюдается полное восстановление исчезнувших воспоминаний. Нам не хотелось бы слишком категорически высказываться по вопросу такого рода, но мы все же не можем не видеть аналогии между этими явлениями и раздвоениями личности, описанными Пьером Жане: некоторые из них поразительно похожи на "отрицательные галлюцинации" и на "суггестии с реперной точкой", вызываемые гипнотизерами.

Афазии второго рода, настоящие афазии, носят совершенно иной характер, они зависят, как мы сразу же постараемся показать, от прогрессивного ослабления хорошо локализованной функции – способности актуализировать вербальное воспоминание. Как объяснить, что амнезия здесь идет методически, начинается с имен собственных и кончается глаголами? Это было бы невозможно, если бы словесные образы действительно откладывались в клетках коры головного мозга: разве не странно было бы, что болезнь всегда поражает эти клетки в одном и том же порядке? Но этот факт проясняется, если допустить вместе с нами, что воспоминания не могут актуализироваться без вспомогательного моторного механизма, и для его вызова требуется особого рода ментальная установка, сама в свою очередь вписанная в телесную двигательную установку. Тогда глаголы, сущность которых состоит в выражении имитируемых действий) оказываются как раз теми словами, которые при почти полной потере языковой функции нам удается, посредством

Ribot, Les maladies de la mémoire, Paris, 1881, p. 131 et suiv. Winslow, On obscure Diseases of the Brain, London, 1861. Ibid., p. 372.

4

Pierre Janet, Etat mental des hystériques, Paris, 1894, и, p. 263 et suiv. – См., того же автора, L'automatisme psychologique, Paris, 1889.

См. случай Грасхея, заново исследованный Зоммером и объявленный им необъяснимым при современном состоянии теории афазии. В этом примере движения, выполняемые пациентом, на вид ничем не отличались от сигналов, адресованных независимой памяти. (Sommer, Zur Psychologie der Sprache, Zeitschr. f. Psychol. u. physiol. der Sinnesorgane, t. II, 1891, p. 143 et suiv. – См. соошение ^»ммот щ νοπ·η<>· < ι·, ΛΙ>·\

de Neurologic, ι X\IV,1S<)?»

Wundt, Psychologie physiologique, 1.1, p. 239.

Память мозга 235

известного телесного усилия, вспомнить и восстановить; имена же собственные, будучи в сравнении с другими словами наиболее далекими от тех безличных действий, набросок которых осуществляется нашим телом, затрагиваются ослаблением этой функции в первую очередь. Отметим тот странный факт, что афазик, как правило, став совершенно неспособным когда-либо отыскать искомое им существительное, заменяет его подходящим перифразом, куда входят другие существительные, а иногда и сам непокорный субстантив: не будучи в состоянии мыслить целиком слово, он мыслит соответствующую ему установку, и эта установка определяет общее направление движения, которое приводит его к фразе. Именно

таким образом, вспомнив начальную букву какого-то позабытого имени, мы находим и это имя, благодаря произнесению его инициала. Таким образом, в фактах второго рода оказывается нарушенной вся функция словесной памяти целиком, а в фактах первого рода потеря памяти, кажущаяся более явной, на самом деле никогда не бывает окончательной. И ни в том, ни в другом случае мы одинаково не находим воспоминаний, локализованных в определенных клетках мозгового вещества и уничтожающихся с разрушением этих клеток.

Но обратимся к нашему сознанию. Спросим его, что в нас происходит, когда мы слушаем чужую речь с намерением понять ее. Ждем ли мы пассивно, когда впечатления начнут отыскивать соответствующие образы? Не чувствуем ли мы скорее, что определенным образом настраиваемся, занимаем определенную установку, которая меняется в зависимости от говорящего: языка, на котором он говорит, рода идей, которые он высказывает, и особенно в связи с общим движением фразы, – как будто мы начинаем с настройки тона нашей умственной работы? Двигательная схема, подчеркивая интонации нашего собеседника, следуя, поворот за поворотом, изгибам его мысли, указывает путь нашему мышлению. Это пустой каркас, определяющий своей формой ту форму, в которую устремляется воспринимаемая текущая масса.

Такое понимание механизма истолкования будет воспринято с сомнением из-за непреодолимой склонности нашего ума мыслить скорее вещи, чем прогрессии. Мы сказали, что исходное при истолковании – идея, которая развивается нами в слуховые образы-воспоминания, способные включиться в двигательную схему, чтобы наложиться на слышимые звуки. Здесь имеет место непрерывная прогрессия, следуя которой туманность идеи конденсируется в отдельные слуховые образы, и эти образы, пока еще текучие, окончательно затвердевают через соединение с материально воспринятыми звуками. Ни в один из моментов нельзя сказать с точностью, что заканчивается идея или образ-воспоминание и что начинается образ-воспоминание или ощущение. Да и где, в самом деле, демаркационная линия между слитностью звуков, воспринятых в массе, и той ясностью, которая вносится в этот поток восстановленными в памяти слуховыми образами? Между разрознен-

Bernard, De F Aphasie, Paris, 1889, p. 171 et 174.

Грейвс приводит случай, когда больной позабыл все имена, но вспоминал их начальные буквы и таким образом восстанавливал имена в памяти (цитируется Бернардом: Bernard, De G Aphasie, p. 179).

236 Реализация воспоминаний

ностью самих этих образов-воспоминаний и цельностью первоначальной идеи, которую они дробят и преломляют в отдельные слова? Но научная мысль, анализируя этот непрерывный ряд изменений и уступая непреодолимой потребности в символическом изображении, определяет и закрепляет в законченных формах главные фазы этой эволюции. Слышимые нами необработанные звуки она превращает в отдельные и полные слова, а слуховые образы-воспоминания – в сущности, независимые от той идеи, которую они развивают. В итоге эти три элемента: первичное, необработанное восприятие, слуховой образ и идея – оказываются отдельно существующими целыми, каждое из которых самодостаточно. Кроме того, если придерживаться чистого опыта, следовало бы исходить из идеи, так как ей обязаны своим сплавом слуховые воспоминания, а воспринятые в массе, нечеткие и неполные звуки, в свою очередь, восполняются и выстаиваются только за счет воспоминаний. Между тем не видят ничего несообразного в том, чтобы произвольно достраивать первичный, необработанный звук, так же произвольно объединять вместе воспоминания и опрокидывать естественный порядок вещей, утверждая, что мы идем от восприятий к воспоминаниям и от воспоминаний к идее. Однако в той или иной форме, в тот или иной момент, конечно, возникает необходимость восстановить нарушенную непрерывность трех элементов. Тогда предполагается, что, будучи расположены в отдельных долях продолговатого мозга и мозговой коры, эти три элемента сообщаются между собой: восприятия пробуждают слуховые воспоминания, а воспоминания, в свою очередь, вызывают идеи. Утвердив главные фазы развития в виде независимых элементов, само это развитие стремятся после этого

материализовать, сводя к линиям коммуникации или движениям импульса. Но нельзя* безнаказанно переворачивать таким образом истинный порядок вещей и вводить в каждый элемент ряда моменты, осуществляющиеся на самом деле только после него. Нельзя также безнаказанно фиксировать в виде ряда отдельных и независимых элементов непрерывность целостной прогрессии. Этот способ представления, быть может, и будет достаточным, пока применение его строго ограничивается фактами, послужившими основой его изобретения, но с каждым новым фактом приходится дополнять схему и вводить по пути движения новые остановки, причем рядоподавание этих остановок никогда не достигает восстановления самого движения.

В этом отношении нет ничего поучительнее истории "схем" сенсорной афазии. В первый период ее изучения, отмеченный работами Шар-ко, Бродбента, Кусмауля, Лихтхайма, многие придерживались гипотезы "центра идеации", связанного внутрикорковыми каналами с различными центрами речи. Но при дальнейшем анализе этот центр идей довольно быстро исчез. В самом деле, в то время, как физиология

' Bernard, De ΐ aphasie, p. 37.

j Broadbent, A case of peculiar affection of speech (Brain, 1879, p. 499).

~ Kussmaul, Les troubles de la parole, Paris, 1884, p. 234.

Вернике, который первый систематически изучил сенсорную афазию, обходился без

"центра концептов" (Der aphacische Symptomencomplex, Breslau, 1874).

Память и мозг 237

мозга все успешнее локализовала ощущения и движения, – но ни разу не локализовала идеи, – многообразие сенсорных афазий вынуждало клиницистов расчленять этот интеллектуальный центр на все большее число воображаемых центров: центр зрительных представлений, центр осязательных представлений, центр слуховых представлений и т. д. Более того, приходилось иногда еще и разделять на два различных пути

– восходящий и нисходящий – якобы соединяющий их попарно канал.

Такова была характерная черта схем следующего периода: Висманна, Моелли, Фрейда и т. д. Теория, таким образом, усложнялась все больше, но при этом не могла охватить сложности действительности. Вдобавок к этому, по мере того, как схемы становились более сложными, они намечали и заставляли предполагать возможность не известных до этого нарушений и повреждений, все более разнообразных, благодаря все большей своей специализации и простоте: это было вызвано тем, что усложнение схемы опиралось на разделение ранее не разделявшихся центров. Однако опыт отнюдь не подтверждал при этом теории, поскольку почти всегда доказывал, что многие из этих простых психологических нарушений, которые теория друг от друга изолировала, специфически и разнообразно взаимосвязаны. И так как сложность теорий афазии вела к самораспаду, нет ничего удивительного в том, что современная патология, все более скептически относясь к схемам, вернулась к простому описанию фактов.

Могло ли быть иначе? Слушая некоторых теоретиков сенсорной афазии, можно подумать, что они никогда не обращали внимание на структуру фразы. Они рассуждают так, как будто фраза состоит из имен существительных, вызывающих образы вещей. Куда деваются те разнообразные части речи, роль которых заключается в установлении между образами всякого рода отношений и оттенков? Может быть, нам возразят, что каждое из этих слов само выражает и вызывает

материальный образ, без сомнения, более смутный, но определенный? Пусть тогда подумают о множестве различных отношений, которые выражаются одним и тем же словом, в зависимости от занимаемого им места и терминов, которые оно соединяет! Нам докажут, что это уже тонкости значительно усовершенствованного языка и что возможен язык, состоящий из конкретных имен, предназначенных вызывать образы вещей? Это я без труда готов признать. Но чем примитивнее язык, на котором вы будете со мной говорить, и чем меньше в нем терминов, выражающих отношения, тем больше места вы должны отвести деятельности моего ума, потому что вы заставляете его восстанавливать отношения, которых вы не выражаете: это означает, что вы все больше и больше

Bastian, On different kinds of Aphasia (British Medical Journal, 1887). – См. объяснение (указанное как только возможное) оптической афазии Бернхеймом: Bernheim, De la cécité psychique des choses (Revue de Médecine, 1885).

Wisman, Aphasie und verwandte Zustände (Deutsches Archiv fur Klinische Médecin, 1890).

– Маньян уже ступил на этот путь, о чем свидетельствует схема Скворцова: Skwortzoff, De la cécité des mots (Диссертация, 1881).

Moeli, Ueber Aphasie bei Wahrnehmung der Gegenstande durch das Gesicht (Berl. Klinische Wochenschrift, 28 anp. 1890). Freud, Zur Auffassung der Aphasien, Leipzig, 1891.

Зоммер, сообщение на конгрессе психиатров. (Arch, de Neurologie, t. XXIV, 1892).

238 Реализация воспоминаний

будете отступать от гипотезы, согласно которой каждый словесный образ вызывает свою определенную идею. По сути дела, вопрос здесь всегда в степени: язык, грубый он или утонченный, всегда подразумевает больше, чем может выразить. Прерывистая по своему существу, поскольку осуществляется она через рядоположенность слов, речь может только метить редкими вехами принципиальные этапы движения мысли. Вот почему я смогу понять вашу речь, если буду исходить из мысли, аналогичной вашей, и буду следить за всеми ее изгибами при помощи словесных образов, предназначенных, подобно придорожным столбам, время от времени указывать мне путь. Но я никогда не пойму ее, исходя из самих словесных образов, потому что между двумя последовательными словесными образами всегда есть интервал, который не может быть" заполнен никакими конкретными представлениями. Эти образы всегда будут по сути дела вещами, мысль же – это движение.

Итак, тщетно трактовать образы-воспоминания и идеи как нечто вполне законченное, завершенное, на что можно потом сослаться для сохранения проблематичных "центров идеации". Можно сколько угодно переряжать эту гипотезу, пользуясь языком анатомии и физиологии,

– она останется не чем иным, как ассоцианистской концепцией жизни духа. В ее основе лежит только постоянная тенденция дискурсивного ума разделять всякую прогрессию на фазы превращать затем эти фазы в вещи, и так как она родилась а priori из своего рода метафизического предрассудка, то не помогает ни проследить за движением сознания, ни упростить объяснение фактов.

Но мы должны проследить эту иллюзию до той точки, где она впадает в явное противоречие. Идеи, сказали мы, чистые воспоминания, вызванные из глубины

памяти, развиваются в образы-воспоминания, все более и более способные включиться в двигательную схему. По мере того, как воспоминания эти принимают форму более полного, конкретного и сознательного представления, они все более стремятся слиться с восприятием, которое их втягивает в себя или приспособливает к своим рамкам. Таким образом, в мозгу нет и не может быть области, где застывают и накапливаются воспоминания. Так называемая деструкция воспоминаний из-за мозговых повреждений сводится к прекращению того непрерывного поступательного движения, посредством которого воспоминания актуализируются. Следовательно, если мы непременно хотим локализовать, например, слуховые словесные воспоминания в какой-то определенной точке мозга, то будем вынуждены, на равнозначных основаниях, то ли отделять выделяемый согласно гипотезе центр воображения от центра восприятия, то ли сливать эти два центра в один. Именно это и разрешается проверкой опытом.

Отметим странное противоречие, к которому приходит эта теория,

– с одной стороны, в результате психологического анализа, с другой – под влиянием фактов патологии. С одной стороны, кажется, что если восприятие, однажды осуществившись, сохраняется в мозгу, в виде отложившегося в нем воспоминания, то это воспоминание может быть только вновь приобретенным расположением тех же самых, запечат-

Память и мозг 239

ленных восприятием элементов: откуда и в какой именно момент могло бы оно найти какие-то другие элементы? На этом естественном решении останавливаются Бэни Рибо.

Но с другой стороны, патология предупреждает нас, что совокупность определенного рода воспоминаний может от нас ускользнуть, в то время как соответствующая способность восприятия остается нетронутой. Психическая слепота не мешает видеть, психическая глухота – слышать. В частности, что касается потери слуховых словесных воспоминаний, единственной формы потери памяти, которая нас интересует, – известны многочисленные факты, показывающие, что она обычно связана с разрушением первой и второй левых височноклиновидных извилин, причем неизвестно ни одного случая, чтобы это повреждение вызвало глухоту в собственном смысле слова: удалось даже нанести его в порядке эксперимента обезьяне, не вызвав у нее ничего, кроме психической глухоты, то есть неспособности понимать смысл звуков, которые она продолжала слышать.

Приходится, следовательно, признать, что в основе восприятия и воспоминания лежат разные нервные элементы. Однако против этого предположения говорит самое элементарное психологическое наблюдение: мы знаем, что воспоминание, по мере того, как оно становится более ярким и сильным, обладает тенденцией превращаться в восприятие, причем нельзя точно определить момент, когда именно происходит эта радикальная трансформация и когда, следовательно, можно было бы сказать, что оно перешло с имажинативных нервных элементов на элементы сенсорные. Таким образом, обе эти противоположные гипотезы, – первая, отождествляющая элементы восприятия с элементами памяти, и вторая, их разделяющая, – по природе своей таковы, что каждая из них приводит к другой, противоположной, причем придер-^ живаться нельзя ни той, ни другой.

Да и как могло бы быть иначе? И в том, и в другом случае отдельное восприятие и воспоминание рассматриваются в статическом состоянии, как вещи, первая из которых уже не требует дополнения второй, вместо того, чтобы рассмотреть ту динамическую прогрессию^ посредством которой они переходят одно в другое.

В самом деле, с одной стороны, полное, целостное восприятие определяется и обособляется, только благодаря своему слиянию с образом-воспоминанием, который мы проецируем перед ним. Без этого не было бы внимания, а без внимания возможно

только пассивное сопоставление ощущений, сопровождаемых машинальной реакцией. С другой стороны, как мы покажем ниже, и сам образ-воспоминание, сведенный к состоянию чистого воспоминания, оставался бы бездейственным. Будучи виртуальным, воспоминание это может стать актуальным только благодаря его извлечению восприятием. Бессильное само по себе, оно заимствует жизнь и силу у наличного ощущения, в котором материализи-

Bain, Les sens et l'intelligence, p. 304. – См. Spencer, Principes de Psychologie, 1.1, p. 483.

Ribot, Les maladies de l'âme, Paris, 1881, p. 10.

Наиболее ясные случаи такого рода читатель найдет в статье Шо: Shaw, The sensory side of Aphasia. (Brain, 1893, p. 501). Многие авторы, впрочем, ограничивают повреждение, характерное для потери слуховых словесных образов, повреждением первой извилины. См. в особенности: Ballet, Le langage intérieur, p. 153. Luciani, цитир. у J. Soury, Les Fonctions du Cerveau, Paris, 1892, p. 211.

240 Реализация воспоминаний

зается. Не возвращает ли нас это к утверждению, что отдельное восприятие вызывается двумя противоположными по направлению влияниями, из которых одно, центростремительное, исходит от внешнего предмета, а другое, центробежное, имеет отправной точкой то, что мы называем "чистым воспоминанием"? Первое влияние, взятое совершенно изолированно, дало бы только пассивное восприятие с сопровождающими его машинальными реакциями. Второе же, предоставленное самому себе, стремится дать актуализированное воспоминание, все более и более актуальное по мере своего усиления. Объединившись, два эти влияния образуют в точке соединения определенное и узнаваемое восприятие.

Это то, что говорит нам внутреннее наблюдение. Но мы не можем на этом остановиться. Очень опасно, конечно, пускаться, без достаточного освещения, в область темных вопросов церебральной локализации. Но как мы сказали, отделение полного восприятия от образа-воспоминания приводит клиническое наблюдение к конфликту с психологическим анализом, а результатом этого отделения для теории локализации воспоминаний является серьезная антиномия. Нам предстоит исследовать, как преобразуются известные факты, если не рассматривать мозг, как хранилище воспоминаний.

Допустим на минуту, для упрощения изложения, что возбуждения, приходящие извне, вызывают в коре головного мозга или в других центрах элементарные ощущения. Это всегда были бы не более, чем элементарные ощущения. Однако фактически всякое восприятие охватывает значительное число этих ощущений, всегда сосуществующих и расположенных в определенном порядке. Откуда этот порядок и благодаря чему устанавливается это сосуществование? В том случае, когда материальный предмет налицо, ответ не вызывает сомнения: порядок и сосуществование ощущений зависят от органа чувств, получившего впечатление от внешнего предмета. Этот орган как раз и устроен так, чтобы многообразие одновременных возбуждений могло определенным образом и в определенном порядке на нем запечатлеваться, сразу распределяясь по избранным частям его поверхности. Это, таким образом, своего рода огромная клавиатура, на которой внешний предмет сразу

Теория, набросок которой мы здесь предлагаем, одним из своих аспектов напоминает теорию Вундта. Сразу же отметим их общий пункт и существенное различие. Вместе с Вундтом мы считаем, что определенная, отчетливая перцепция предполагает центробежное действие, и это заставляет нас вместе с ним предположить (хотя несколько в отличном от него смысле), что так называемые имагинативные центры являются скорее центрами группировки чувственных впечатлений. Но, согласно Вундту, центробежное действие состоит в "апперцептивной стимуляции", природа которой определима лишь в общих чертах и которая, по-видимому, соответствует

тому, что обыкновенно называется фиксацией внимания; мы же полагаем, что это центробежное действие принимает в каждом случае особую форму, а именно форму того "виртуального предмета", который постепенно стремится актуализироваться. Отсюда важное различие в понимании роли центров. Вундт приходит к допущению: 1) общего органа апперцепции, занимающего лобную долю, 2) особых центров, которые, будучи, без сомнения, неспособными накапливать образы, сохраняют все же тенденцию или предрасположенность к их воспроизведению. Мы же, наоборот, утверждаем, что в мозговом веществе от образа ничего оставаться не может и что не может существовать центра апперцепции, но что в этом веществе просто есть органы виртуальной перцепции, находящиеся под влиянием интенции воспоминания, а на периферии есть органы действительной перцепции, на которые влияет воздействие предмета. (См. Psychologie physiologique, t. I, p. 242 – 252).

Память и мозг 241

исполняет свой аккорд в тысячу нот, вызывая тем самым, в определенном порядке и в один момент, огромное множество элементарных ощущений, соотносенных со всеми имеющими отношение к делу точками сенсорного центра. Уничтожьте теперь этот внешний предмет, или орган чувств, или и то, и другое: можно вызвать те же самые элементарные ощущения, потому что налицо те же самые струны, готовые звучать точно так же, как раньше. Но где же эта клавиатура, позволяющая ударить по тысячам и тысячам клавиш сразу и соединить тысячи и тысячи простых нот в одном аккорде? По нашему мнению, "область образов", если она существует, может быть только такого рода клавиатурой. Конечно, нет ничего недопустимого в том, что все участвующие струны приводятся в действие непосредственно чисто психологической причиной. Но в случае ментального слухового восприятия – которое одно только нас и интересует – локализация этой функции вроде бы действительно имеет место, потому что определенное повреждение височной доли ее уничтожает; с другой же стороны, мы изложили соображения, по которым мы не можем ни допустить, ни даже представить себе осажденные образы, хранящиеся в некоей области мозгового вещества. Остается возможной, таким образом, единственная гипотеза-предположение, что эта область занимает по отношению к слуховому восприятию как таковому место, симметричное органу чувств (в дан-ном случае – уху) : это было бы своего рода ментальное ухо.

Тогда указанное противоречие рассеивается. С одной стороны, становится понятным, что вызванный из памяти слуховой образ возбуждает те же нервные элементы, что и первоначальное восприятие, и что воспоминание постепенно превращается в восприятие. С другой стороны, понятно также, что способность вспоминать такие сложные звуки, как слова, может соотноситься с другими частями нервной субстанции, чем способность их воспринимать: вот почему при психической глухоте реальный слух может сохраняться после утраты ментального слуха. Струны еще целы, и под влиянием внешних звуков они еще вибрируют: не действует внутренняя клавиатура.

Другими словами, наконец те центры, где рождаются элементарные ощущения, могут быть приведены в действие как бы с двух разных сторон: спереди и сзади. Спереди они получают впечатление от органов чувств, следовательно, отреального предмета: сзади же подвержены, через ряд опосредования, влиянию виртуального предмета. Центры образов, если они существуют, могут быть по отношению к сенсорным центрам только органами, симметричными органам чувств. Они так же точно не могут быть хранилищами чистых воспоминаний, то есть виртуальных предметов, как органы чувств не могут быть хранилищами предметов реальных.

Прибавим, что это только бесконечно сокращенный перевод того, что может совершаться в действительности. Различные сенсорные афазии показывают, что вызов слухового образа™ акт весьма не простой. Между интенцией – тем, что мы называем чистым воспоминанием, и слуховым образом-воспоминанием в собственном смысле чаще всего вклиниваются промежуточные воспоминания, которые должны до того реализоваться как образы-воспоминания в более или менее отдаленных центрах. И тогда только, через ряд последовательных уровней, идея

242 Реализация воспоминаний

воплощается в особом, вербальном образе. В силу этого ментальный слух может быть подчинен совокупности различных центров и ведущих к ним путей. Но эти сложности по сути дела ничего не меняют. Каковы бы ни были число и природа промежуточных элементов, мы идем не от восприятия к идее, а от идеи к восприятию: процесс, характеризующий узнавание, имеет не центростремительную, а центробежную направленность.

Остается, правда, определить, как исходящие изнутри возбуждения могут порождать ощущения, воздействуя на мозговую кору или другие центры. Очевидно, что это только удобный способ выражения. Чистое воспоминание, по мере своего осуществления, стремится вызвать в теле все соответствующие ему ощущения. Но эти ощущения, также виртуальные, чтобы сделаться реальными, должны приводить в действие тело, сообщать ему те движения и положения, обычной предпосылкой которых они являются. Возбуждения так называемых сенсорных центров, обычно предшествующие совершенным или намеченным телом движениям (их нормальная роль состоит также в том, чтобы подготавливать эти движения, начиная их), представляют собой, следовательно, не столько реальную причину ощущения, сколько признак его силы и условие действительности. Поступательное движение реализации виртуального образа – это не что иное, как ряд переходов, посредством которых этот образ добывается от тела полезных действий. Возбуждение же сенсорных центров составляет последний из этих переходов: это прелюдия к двигательной реакции, начало действия в пространстве. Другими словами, виртуальный образ развивается в направлении виртуального ощущения, а виртуальное ощущение – в направлении реального движения: это движение, реализуясь, осуществляет сразу и ощущение, естественным подолжением которого оно является, и образ, стремящийся соединиться с ощущением. Теперь мы углубим рассмотрение этих виртуальных состояний и, дальше проникая во внутренний механизм психических и психофизических актов, покажем, как прошлое, актуализируясь в непрерывной прогрессии, стремится отвоевать свое утраченное влияние.

Глава третья

О сохранении образов. – Память и дух.

Кратко резюмируем предыдущее. Мы различили три элемента: чистое воспоминание, воспоминание-образ и восприятие, из которых, однако, ни один в действительности не существует изолированно. Восприятие никогда не бывает простым контактом духа с наличным предметом: оно всегда насыщено дополняющими и интерпретирующими его воспоминаниями-образами. Воспоминание-образ, в свою очередь, при-частно к "чистому воспоминанию", которое оно начинает материализовать, и к восприятию, в которое стремится воплотиться: рассматриваемое с этой последней точки зрения, оно может быть определено как рождающееся восприятие. Наконец, чистое воспоминание (несомненно, *nezavisimoe de jure*), как правило, проявляется только в окрашенном и живом образе, который его обнаружива-ет.

Обозначив эти три элемента последовательными „

OTpeaKaMН АВ, ВС и CD, "™™™Г""Г"* . восприятие можно сказать, что наша ι

мысль чертит эту линию не- АВ і ~ CD

прерывным движением, иду-!

щим от А к D, и невозможно

сказать с точностью, где кон-1

чается один отрезок и где на-

чинается другой.

Это, впрочем, без труда

констатирует сознание всякий раз, когда, анализируя работу памяти, оно следует за ее движением. Пусть нам нужно что-то вспомнить, воскресить какой-то период нашей истории. Мы осознаем при этом, что совершаем акт sui generis, посредством которого отрываемся от настоящего и перемещаемся сначала в прошлое вообще, потом в какой-то определенный его регион: это работа осязью, аналогичная установке фокуса фотографического аппарата. Но воспоминание все еще остается в виртуальном состоянии: мы пока только приготавливаемся таким образом к его восприятию, занимая соответствующую установку. Оно появляется мало-помалу, как сгущающаяся туманность; из виртуаль-

244 Чистое воспоминание

ного состояния оно переходит в актуальное, и по мере того как обрисовываются его контуры и окрашивается его поверхность, оно стремится уподобиться восприятию. Но своими нижними корнями оно остается связанным с прошлым, и мы никогда не приняли бы его за воспоминание, если бы на нем не оставалось следов его изначальной виртуальности и если бы, будучи в настоящем, оно все же не было бы чем-то выходящим за пределы настоящего.

Постоянная ошибка ассоцианизма состоит в подмене этой непрерывности становления, то есть живой реальности, разрозненным множеством инертных рядоположенных элементов. Из-за того же, что каждый из конституированных таким образом элементов тем не менее содержит, в силу своего происхождения, нечто из того, что ему предшествовало, а также из того, что за ним следует, в наших глазах он должен будет приобрести вид чего-то смешанного и в некотором роде нечистого. Но с другой стороны, принцип ассоцианизма требует, чтобы каждое психологическое состояние было бы разновидностью атома, то есть простым элементом. Отсюда – необходимость пожертвовать в каждой выделяемой фазе неустойчивым в пользу устойчивого, а значит, начинающимся в пользу законченного. Когда речь идет о восприятии, в нем не видят ничего, кроме нагромождения окрашивающих его ощущений, и не замечают вспоминаемые образы, формирующие его темное ядро. Когда же очередь доходит до самого вспоминаемого образа, его берут уже вполне готовым, реализованным до состояния слабого восприятия, и закрывают глаза на чистое воспоминание, из которого этот образ постепенно развился. В предполагаемом ассоцианизмом соперничестве между стабильным и неустойчивым, восприятие всегда в итоге вытесняет воспоминание-образ, а воспоминание-образ заслоняет собой чистое воспоминание. Вот почему чистое воспоминание исчезает полностью. Ассоцианизм, рассекая надвое линией MO всю прогрессию AD, не видит в отрезке OD ничего, кроме ощущений, которые его заканчивают и к которым для ассоцианизма сводится все восприятие. С другой стороны, отрезок AO он также редуцирует – к реализованному образу, конечному состоянию разившегося чистого воспоминания. В итоге психологическая жизнь целиком сводится к двум элементам – к ощущению и образу. И так как чистое воспоминание, исходное состояние образа-воспоминания, оказалось поглощенным этим образом, а сам образ в свою очередь был сближен с восприятием, которому было авансом передано то, что привносится в него только с образом-воспоминанием, между этими двумя состояниями сохранилось различие только в степени, или интенсивности. Отсюда различие сильных и слабых состояний, из которых первые возводятся нами в ранг восприятий настоящего, а вторые – неизвестно почему – относятся к категории представлений прошлого. На самом же деле мы никогда не достигли бы прошлого, если бы сразу не были в нем

расположены. Прошлое, по сути своей виртуальное, может быть воспринято нами как прошлое, только если мы проследим и освоим то движение, посредством которого оно развивается в образ настоящего, выступая из сумерек на яркий свет. Тщетно было бы искать его след в чем-то актуальном и уже реализованном: все равно, что искать темноту при полном освещении. Именно в этом и состоит ошибка ассоцианизма: расположившись в актуальном, он тщетно теря-

Память и дух245

ет силы в попытках открыть в реализованном и наличном состоянии признак его прошлого прообраза, чтобы отличить воспоминание от восприятия и возвести в степень различия по природе то, что он изначально обречен быть лишь различием в степени.

Вообразить – это не то же самое, что вспоминать. Конечно, воспоминание, по мере того как оно актуализируется, стремится ожить в образе, но обратное неверно: просто образ, образ как таковой не соотнесет меня с прошлым, если только я не отправлюсь в прошлое на его поиски, проследив тем самым то непрерывное поступательное движение, которое привело его от темноты к свету. Это то, о чем так часто забывают психологи, когда они, исходя из того, что вспоминаемое ощущение становится более актуальным, если мы вспоминаем более настойчиво, делают вывод, что воспоминание об ощущении было зарождением этого ощущения. Факт, на который они ссылаются, без сомнения верен. Чем больше я стараюсь вспомнить какую-то прошлую боль, тем больше я начинаю реально ее испытывать. Но это и не трудно понять, поскольку прогресс воспоминания и состоит в его материализации. Вопрос же в том, чтобы выяснить, было ли воспоминание о боли первоначально действительной болью? Из того, что за гипнотизированному субъекту в итоге становится жарко, когда ему настойчиво внушают, что стоит жара, не следует, что уже слова внушения были жаркими.

И точно так же из того, что воспоминание об ощущении переходит в само это ощущение, не следует, что это «воспоминание было зарождающимся ощущением»: воспоминание может на самом деле играть по отношению к зарождающемуся ощущению такую же роль гипнотизера, производящего внушение. Представленное в таком виде, критикуемое нами умозаключение уже теряет убедительную силу, но оно пока еще не ложно, поскольку использует ту несомненную истину, что воспоминание по мере своей актуализации трансформируется. Ложность его вскрывается, когда мы проводим рассуждение в обратном порядке (который, впрочем, сточки зрения рассматриваемой гипотезы, должен быть таким же правомочным), то есть когда мы вместо того, чтобы повышать интенсивность чистого воспоминания, снижаем интенсивность ощущения. Если между двумя этими состояниями существовала бы разница только в степени, то в какой-то определенный момент ощущение превратилось бы в воспоминание. Если, например, воспоминание о какой-то сильной боли – это не что иное, как слабое ощущение боли, то, наоборот, интенсивная боль, которую я испытываю, уменьшаясь, в конце концов должна превратиться в воспоминание о сильной боли. Без всякого сомнения, наступает момент, когда я не могу сказать, испытываю я слабое ощущение или воображаю его (и это естественно, поскольку образ-воспоминание уже причастен ощущению), но это слабое переживание никогда не покажется мне воспоминанием о каком-то сильном переживании. Воспоминание, следовательно, представляет собой нечто совершенно другое.

Но иллюзия, состоящая в том, что между воспоминанием и восприятием видят только разницу в степени – это нечто большее, чем простое следствие ассоцианизма, большее, чем эпизод в истории философии. Она имеет глубокие корни и покоится в конечном счете на ложном представлении о природе и объекте внешнего восприятия. В восприятии

246В чем состоит настоящее?

хотят видеть только источник сведений, адресованных чистому разуму, причем из исключительно спекулятивного интереса. Но так как и воспоминание, взятое само по

себе, не имеющее уже объекта, по существу является познанием такого же рода, то между восприятием и воспоминанием удастся отыскать только различие в степени: восприятие вытесняет воспоминание и конституирует таким образом наше настоящее – просто по закону преобладания более сильного. Но между настоящим и прошлым различие, конечно, не просто в степени. Мое настоящее – это то, что меня интересует, что для меня живо, то, наконец, что побуждает меня к действию, между тем как мое прошлое по существу бессильно. Остановимся на этом пункте. Мы лучше поймем природу того, что мы называем "чистым воспоминанием", сопоставив его с наличным восприятием.

На самом деле впустую было бы пытаться характеризовать воспоминание с прошлым состоянием, не определив сначала конкретного и принимаемого сознанием признака наличной реальности. Что такое для меня настоящий момент? Времени свойственна текучесть: уже истек- (шее время образует прошлое, настоящим же мы называем то мгнове-! ние, где оно течет. Но здесь не может быть речи о математическом ; мгновении. Без сомнения, существует идеальное настоящее, чисто умозрительное, – неделимая граница, отделяющая прошлое от будущего. I Но реальное, конкретное, переживаемое настоящее, то, которое я имею. :в виду, когда говорю о наличном восприятии, необходимо обладает

длительностью. Где же расположить эту длительность? Находится ли 1 Î она по ту или по эту сторону той математической точки, которую я идеально полагаю, когда думаю о мгновении настоящего? Более, чем очевидно, что она располагается сразу и тут, и там, и то, что я называю "моим настоящим", разом захватывает и мое прошлое, и мое будущее: прошлое, поскольку "момент, когда я говорю, уже отдален от меня"; будущее, потому что этот же момент наклонен в сторону будущего, именно к будущему устремлен я сам, и если бы я мог зафиксировать это неделимое настоящее, этот бесконечно малый элемент кривой времени, то он указал бы в направлении будущего. Надо признать, таким образом, что то психологическое состояние, которое я называю "моим настоящим" – это вместе с тем сразу и восприятие непосредственного прошлого, и своего рода детерминация непосредственного будущего. Однако непосредственное прошлое, поскольку оно воспринимается, как мы увидим, представляет собой ощущение, и, как всякое ощущение, выражает длинную последовательность элементарных колебаний; непосредственное будущее же, поскольку оно детерминируется, представляет собой действие, или движение. Мое настоящее, таким образом, – это сразу и ощущение, и движение, а так как оно образует нераздельное целое, то это движение должно быть взаимосвязано с этим ощущением и продолжать его в действии. Из этого я заключаю, что мое настоящее представляет собой комбинированную систему ощущений и движений. По своей природе оно сенсомоторно.

Это означает, что мое настоящее заключается в сознании, которое я имею о своем теле. Располагаясь в пространстве, мое тело испытывает ощущения и в то же время выполняет движения. Ощущения и движения локализуются в определенных точках его протяженности, поэтому

Память и дух247

в каждый данный момент может быть не более одной системы движений и ощущений. Вот почему мое настоящее представляется мне чем-то абсолютно детерминированным и резко отграниченным от моего прошлого. Помещенное между материей, которая на него влияет, и материей, на которую оно влияет, мое тело образует центр действий, оказываясь тем местом, где полученные впечатления целенаправленно избирают пути превращения в осуществленные движения: оно, следовательно, в полной мере представляет собой актуальное состояние моего становления, то в моей длительности, что находится в стадии оформления и осуществления.

В более общем виде можно сказать, что в той непрерывности становления, которая есть сама реальность, настоящий момент конституируется посредством почти мгновенного среза, который наше восприятие делает в протекающей массе, и этот срез, собственно, и есть то, что мы называем материальным миром. Наше тело занимает в нем центральное место, именно тело мы непосредственно воспринимаем

как протекающее, и в его актуальном состоянии сосредоточена актуальность нашего настоящего. Материя как нечто протяженное в пространстве должна, по нашему мнению, определяться как непрерывно начинающееся заново настоящее, наше же настоящее, напротив, и есть сама материальность нашего существования, то есть совокупность ощущений и движений – и ничего сверх этого. И эта совокупность определена и неповторима для каждого момента длительности, потому что ощущения и движения занимают места в пространстве, а в одном и том же месте не может быть нескольких вещей сразу. Почему оказалось возможным не признавать такой простой, такой очевидной истины, – в конечном счете, всего-навсего идеи здравого смысла?

Причина именно в том, что между актуальными ощущениями и чистым воспоминанием упорно находили лишь различие в степени, а не по существу. Различие же это, по нашему мнению, носит радикальный характер. Мои актуальные ощущения локализованы на определенных участках поверхности моего тела, чистое же воспоминание, наоборот, никакой участок тела не затрагивает. Материализуясь, оно, без сомнения, породит ощущения, но в этот самый момент оно перестанет быть воспоминанием и станет наличным, актуально переживаемым, и я могу восстановить его в качестве воспоминания, только вновь обратившись к тому действию, посредством которого я вызвал его, тогда бывшее виртуальным, из глубин моего прошлого. Оно стало актуальным именно потому, что я сделал его активным, превратив в ощущение, способное вызвать движения. Большая часть психологов, наоборот, принимают чистое воспоминание только за слабое восприятие, за совокупность рождающихся ощущений. Стерев сначала таким образом всякое различие по природе между ощущением и воспоминанием, они вынуждены далее, логикой своей гипотезы, материализовать воспоминание и идеализировать ощущение. Воспоминание они представляют себе только в форме образа, то есть уже воплощенным в рождающихся ощущениях. Перенеся в характеристику воспоминания то, что существенно для ощущения, и не желая видеть в идеальности воспоминания чего-то особенного, коренным образом отличающего его от ощущения как такового, они вынуждены, возвращаясь к чистому ощущению, признать за

2480 бессознательном

ним идеальность, имплицитно приданную перед этим рождающемуся ощущению в результате его смешения с воспоминанием. Если, в самом деле, прошлое, которое, согласно гипотезе, уже не действует, может существовать в виде слабого ощущения, отсюда следует, что существуют бездейственные ощущения. Если чистое воспоминание, которое, согласно гипотезе, не затрагивает никакого определенного участка тела,

– это то же, что и рождающееся ощущение, то ощущение не обязательно локализовано в какой-нибудь точке тела. Отсюда иллюзия, состоящая в том, что в ощущении видят неустойчивое и непротяженное состояние, приобретающее протяженность и закрепляющееся в теле только благодаря случайности. Эта иллюзия глубоко искажает, как мы видели, теорию внешнего восприятия и поднимает множество спорных вопросов, дискутируемых различными метафизиками материи. Следует же определенно признать, что ощущение по своему существу протяженно, локализовано и представляет собой источник движения, а чистое воспоминание, будучи непротяженным и бездейственным, никоим образом к нему не причастно.

Я называю своим настоящим мою установку по отношению к непосредственному будущему, мое непосредственно наступающее действие. Мое настоящее, следовательно, по существу сенсомоторно. Из моего прошлого только то становится образом, а следовательно, и ощущением (по крайней мере, рождающимся), что может содействовать этому наступающему действию, вписаться в эту установку, словом, стать полезным: но как только прошлое становится образом, оно перестает быть чистым воспоминанием и вбирает в себя определенную часть моего настоящего. Воспоминание, актуализированное в образе, глубоко отличается, следовательно, от чистого воспоминания. Образ – это наличное состояние и причастен прошлому только опосредованно – через воспоминание, из которого он вышел. Наоборот, воспоминание, бездейственное, пока оно бесполезно, остается чистым от всякой примеси ощущения, без связи с настоящим и, следовательно, непротяженным.

Эта полнейшая бездейственность чистого воспоминания как раз и поможет нам понять, как оно сохраняется в латентном состоянии. Не входя пока в суть вопроса, ограничимся замечанием, что наше нежелание признать бессознательные психологические состояния происходит прежде всего от того, что мы считаем сознание их существенным сопровождением, так что психологическое состояние не может, как нам кажется, перестать быть осознанным, не перестав тем самым существовать вообще. Но если осознание – это характерный признак только настоящего, то есть актуально переживаемого, то есть, в конечном счете, действующего, тогда то, что не действует, может не принадлежать осознаваемому, не обязательно переставая при этом так или иначе существовать. Другими словами, в психологической области осознанность – это синоним не существования, но только реального действия или непосредственной готовности действия, и при таком ограничении пределов этого термина не так трудно представить себе бессознательное

– то есть в итоге бездейственное – психологическое состояние. Какой бы мы ни выработали идеи сознания самого по себе, то есть реализующего себя независимо, без внешних ограничений, трудно отрицать, что у существа, наделенного телесными функциями, роль сознания состоит

Память и дух .249

главным образом в управлении действием и прояснении выбора. Оно бросает свет на непосредственные предпосылки принимаемого решения и на все те воспоминания прошлого, которые могут быть с пользой к ним присоединены, – остальное остается в тени. Но здесь мы опять находим в новой форме ту непрерывно возрождающуюся иллюзию, с которой сталкиваемся с самого начала этой книги. Даже когда сознание соединено с телесными функциями, в нем хотят видеть спекулятивную по существу способность, которая только случайно находит практическое применение. Но тогда, поскольку не видно, какой интерес сознанию, если оно предназначено для чистого познания, упускать знания, которыми оно обладает, – непонятно, почему оно отказывается освещать то, что не окончательно для него потеряно? Отсюда следовало бы, что ему по праву принадлежит только то, чем оно обладает фактически, и что в области сознания все реальное актуально. Но верните сознанию его настоящую роль: тогда не будет больше причин утверждать, что однажды воспринятое прошлое стирается, как нет причин предполагать, что материальные предметы перестают существовать, когда я перестаю их воспринимать.

Остановимся на этом последнем пункте, потому что здесь находится центр трудностей и источник недоразумений, окружающих проблему бессознательного. Идея бессознательного представления ясна, несмотря на распространенный предрассудок; можно даже сказать, что мы постоянно ей пользуемся и что нет концепции, более близкой здравому смыслу. В самом деле, все признают, что образы, актуально представленные нашему восприятию, не составляют всей материи. Но, с другой стороны, чем может быть невоспринятый материальный предмет, невоображаемый образ, если не своего рода бессознательным ментальным состоянием? За пределами стен вашей комнаты, которую вы воспринимаете в эту минуту, существуют соседние комнаты, остальная часть дома, наконец, улица и город, где вы живете. Не имеет значения, какой теории материи вы придерживаетесь: реалист вы или идеалист, вы, очевидно, думаете, когда говорите о городе, об улице, о других комнатах дома, об определенном числе восприятий, отсутствующих в вашем сознании и тем не менее данных вне его. Нельзя сказать, что они создаются по мере того как ваше сознание их воспринимает: значит, они каким-то образом уже существовали, а так как, согласно гипотезе, сознание ваше их не охватывало, то как еще могли бы они существовать сами по себе, если не в состоянии бессознательного? Почему тогда оказывается, что существование вне сознания кажется нам ясным, когда дело касается объектов, и непонятным, когда мы говорим о субъекте? Наши восприятия – и актуальные, и виртуальные – распределяются вдоль двух линий, одной горизонтальной – АВ, содержащей все одновременные предметы в пространстве, другой вертикальной – СІ, на которой располагаются наши последовательные воспоминания, размещенные во времени. Точка І, пересечение двух линий, – это единственная точка, актуально данная нашему сознанию. Почему мы без колебания принимаем реальность всей линии АВ, хотя она остается невидимой, а на линии СІ наоборот: только настоящее І, актуально воспринятое, кажется нам

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
единственной подлинно существующей точкой? В основе этого радикального различия
двух рядов – временного и

2500 бессознательном

пространственного – лежит столько смутных и плохо очерченных идей, столько
гипотез, лишенных всякой спекулятивной ценности, что мы не в состоянии разобрать
все это сразу, в одном анализе. Чтобы полностью разоблачить

эту иллюзию, пришлось-----*—

бы исследовать у самых АИВ

истоков и проследить во всех его поворотах то

двойное движение, посредством которого мы приходим к полаганию объективных
реальностей, не имеющих отношения к сознанию, и состояний сознания без
объективной реальности, когда начинает казаться, что пространство неопределенно
долго сохраняет рядоположенные в нем вещи, а время шаг за шагом разрушает
следующие в нем одно за другим состояния. Часть этой работы была проделана нами в
первой главе этой книги, когда мы говорили об объективности вообще, остальное
будет сделано на последних страницах, когда мы будем говорить об идее материи.
Ограничимся здесь указанием на некоторые существенные пункты.

Прежде всего, предметы, размещенные вдоль линии АВ, представляют для нас то, что
мы начинаем воспринимать, между тем как линия СІ содержит только то, что мы уже
восприняли. Но прошлое уже не представляет для нас интереса: оно исчерпало свое
возможное действие или может заново обрести влияние, только позаимствовав
жизненную силу у наличного восприятия. В противоположность этому, ближайшее
будущее состоит в неотвратимом действии, в еще не израсходованной энергии. Не
воспринятая пока часть материальной вселенной, насыщенная обещаниями и угрозами,
обладает, следовательно, для нас реальностью, которой не могут и не должны
обладать не воспринимаемые актуально периоды нашего прошлого существования. Но
это различие, целиком относящееся к практической пользе и к материальным
потребностям жизни, все более и более очевидно принимает в нашем уме форму
метафизической дистинкции.

Мы фактически показали, что предметы, расположенные вокруг нас, представляют в
той или иной степени действие, которое мы можем оказывать на вещи, или должны
будем испытать от них. Срок этого возможного действия точно определяется большим
или меньшим отдалением от соответствующего предмета, так что дистанция в
пространстве измеряет близость угрозы или обещания во времени. Пространство,
следовательно, сразу дает нам схему нашего ближайшего будущего, а так как этому
будущему предстоит протекать неопределенно долго, то символизирующее его
пространство имеет свойство оставаться в своей неподвижности беспредельно
открытым. Из-за этого непосредственно данный горизонт нашего восприятия
необходимым образом кажется нам окруженным более широкой окружностью,
существующей, хотя и

Память и дух 251

невидимой, эта окружность предполагает еще одну, ее охватывающую, – и т. д. до
бесконечности. Таким образом, наше актуальное восприятие, будучи протяженным, по
своей природе всегда будет только частичным внутренним содержанием по отношению к
более обширному и даже бесконечному содержащему ее опыту, и этот опыт,
отсутствующий в нашем сознании, потому что он выходит за воспринимаемый
горизонт, от этого насколько не меньше кажется нам актуально данным. Но тогда
как от этих материальных предметов, которые мы наделяем наличной реальностью, мы

чувствуем себя зависимыми', наши воспоминания, напротив, в той мере, в какой они принадлежат прошлому, оказываются мертвым грузом, который мы тащим за собой, охотно теша себя мыслью от него избавиться.

Тот же инстинкт, в силу которого мы до бесконечности распахиваем перед собой пространство, заставляет нас по мере его истечения затворять за собой время* и если реальность как протяженность кажется нам бесконечно превосходящей пределы нашего восприятия, то в нашей внутренней жизни, наоборот, только то кажется намреальным, что начинается в настоящий момент: остальное практически сводится на нет. Отсюда, в случае появления в сознании воспоминания, оно кажется нам привидением, таинственное появление которого приходится объяснить особыми причинами. По существу же взаимосвязь этого воспоминания с нашим наличным состоянием вполне сравнима с взаимосвязью невоспринимаемых предметов с теми, которые мы воспринимаем, и бессознательное в обоих случаях играет одного рода роль.

Но нам очень трудно представить себе вещи таким образом, потому что мы привыкли подчеркивать различия и, наоборот, затушевывать сходства между рядом предметов, одновременно расположенных в пространстве, и рядом состояний, последовательно разворачивающихся во времени. В первом ряду все его элементы вполне строго обусловлены, детерминированы – таким образом, что появление каждого нового элемента можно было бы предвидеть. Так, выходя из своей комнаты, я знаю, через какие комнаты я буду проходить. Наоборот, мои воспоминания представляются мне в произвольном на вид порядке. Порядок представлений, следовательно, в одном случае необходим, в другом – случаен, и именно эту необходимость я и гипостазирую определенным образом, когда говорю о существовании вне всякого сознания. Если я не вижу ничего недопустимого в том, чтобы предположить как данную всю невоспринимаемую мной тотальность предметов, это происходит потому, что строго определенный порядок этих предметов придает им вид цепи, в которой мое наличное восприятие будет уже не более, чем одним из звеньев: это звено и передает свою актуальность всей остальной цепи. – Но присмотревшись поближе, можно было бы увидеть, что наши воспоминания образуют такого же рода цепь и что наш характер, всегда присутствующий во всех наших решениях, представляет собой не что иное, как актуальный синтез всех наших прошлых состояний. В этой сжатой форме наша предшествующая психологическая жизнь обладает для нас существованием даже в большей мере, чем внешний мир: мы воспринимаем всегда только ничтожно малую часть этого мира, тогда как пережитой нами опыт используем во всей его совокупности. Правда, мы обладаем этой тотальностью пережитого лишь в сокращен-

2520 бессознательном

ном виде, и наши прежние восприятия, рассматриваемые как отдельные индивидуальности, кажутся нам или полностью исчезнувшими, или появляющимися по своей прихоти. Но эта видимость полного уничтожения или случайного, самопроизвольного становления обусловлена просто тем, что актуальное сознание всегда допускает в себя то, что в данный момент полезно, мгновенно откидывая лишнее. Всегда устремленное к действию, оно может материализовать только те наши давние восприятия, которые органично дополняют наличное восприятие, чтобы содействовать окончательному решению. Если для прояснения моего действия в данной точке пространства необходимо, чтобы мое сознание преодолело один за другим все те промежутки, или интервалы, которые в общем составляют то, что называется дистанцией в пространстве, для достижения той же цели ему, напротив, полезно перескочить через интервал времени, отделяющий актуальную ситуацию от аналогичного положения в прошлом, и так как сознание переносится туда одним скачком, вся промежуточная часть прошлого от него ускользает. Те же самые причины, по которым наши восприятия располагаются в строгой "последовательности в пространстве, заставляют наши воспоминания разрозненно высвечиваться во времени. В отношении невоспринимаемых предметов в пространстве и бессознательных воспоминаний во времени нельзя сказать, что мы имеем дело с двумя радикально различными формами существования, но требования действия в одном случае прямо противоположны требованиям действия в другом. Однако здесь мы касаемся капитальной проблемы существования, проблемы, которую мы можем лишь слегка затронуть, чтобы, переходя от вопроса к вопросу, нам не пришлось

проследовать до самого ядра метафизики. Скажем только, что в том, что касается вещи опыта, – а только ими мы здесь и занимаемся – существование, по-видимому, предполагает соединение двух условий: 1) представление в сознании, 2) логическое или причинное сочетание того, что таким образом представлено в сознании, с предшествующим и с последующим. Для нас реальность психологического состояния или материального предмета состоит в том двойном факте, что наше сознание их воспринимает и что они входят в пространственный ряд, элементы которого друг друга различают. Но эти два условия допускают различные степени: первое, например, в отношении к объектам, хотя оба они необходимы, но выполняются при этом не одинаково. Как, в случае актуальных внутренних состояний (связь с другими элементами менее тесна, и детерминация прошлым настоящей) не имеет характера математического вывода, поскольку большое место остается за случайностью, но зато они полностью представлены сознанию, так как актуальное психологическое состояние сразу дается нам со всей тотальностью своего содержания в самом акте его восприятия. Наоборот, если речь идет о внешних предметах, взаимосвязь с другими элементами становится полной, потому что эти предметы подчиняются необходимым законам; но тогда другое условие* представление в сознании, выполняется только частично, так как материальный предмет, как раз в силу многочисленности невоспринимаемых элементов, связывающих его с другими предметами, оказывается, содержит в себе и скрывает за собой бесконечно больше, чем позволяет нам увидеть. -- Мы должны были бы, таким образом, сказать, что

Память и дух

существование в эмпирическом смысле слова всегда предполагает сразу и осознание, и регулярное сочетание с другими элементами, но в различных степенях. Но наш рассудок, функция которого состоит в том, чтобы устанавливать резкие разграничения, понимает вещи отнюдь не так. Вместо того, чтобы признать во всех случаях присутствие общих элементов, смешанных в различных пропорциях, он предпочитает их разъединить и приписать таким образом внешним предметам, с одной стороны, и внутренним состояниям, с другой, два радикально различных способа существования, каждый из которых характеризуется исключительным наличием одного из условий, хотя нужно было бы говорить только о его преобладании. В итоге существование психологических состояний целиком сводится к их аппрециации сознанием, а существование внешних явлений – исключительно к строгому порядку их существования и последовательности. Отсюда невозможность допустить у существующих, но невоспринимаемых материальных предметов какую-либо причастность к сознанию, а у неосознанных внутренних состояний малейшую причастность к существованию. В начале этой книги мы показали последствия первой иллюзии: она приводит к извращению наших представлений о материи. Вторая, дополняющая первую, вводит в заблуждение наше понимание духа, искусственно затемняя идею бессознательного. Наша прошлая психологическая жизнь вся целиком обуславливает наше настоящее состояние, не детерминируя его с необходимостью; также вся целиком, она обнаруживается и в нашем характере, хотя ни одного из прошлых состояний в нашем характере явным образом не видно. Соединяясь, эти два условия обеспечивают каждому прошлому психологическому состоянию реальное, хотя и бессознательное существование.

Но мы так привыкли переверачивать действительный порядок вещей в интересах практики, мы до такой степени испытываем неустранимость воспринятых из пространства образов, что не можем не задаваться вопросом, где сохраняется это воспоминание. Мы понимаем, что физико-химические явления имеют место в мозге, в теле, тело – окружающем его воздушном пространстве и т. д.; но если, однажды совершившись, сохраняется прошлое, то где пребывает оно? Было бы просто и понятно, кажется, поместить его, в виде молекулярного изменения, в мозговое вещество, потому что тогда мы обладали бы неким актуально данным резервуаром, который достаточно было бы только открыть, чтоб латентные образы потекли в сознание. Но если мозг не может служить для такого использования, в каком хранилище мы разместим накопленные образы? Упускается из вида, что отношение между содержащим и содержащим приобретает свою кажущуюся ясность и всеобщность за счет всегдашней необходимости для нас распахивать перед собой пространство и затворять за собой длительность. Показать, что одна вещь содержится в другой, совсем не значит объяснить этим феномен ее сохранения. Более того: предположим на один момент, что прошлое переживает себя в виде воспоминания, сохраняемого в мозге. В таком случае необходимо, чтобы мозг для сохранения воспоминания по

крайней мере сохранялся сам, но этот мозг, как протяженный образ в пространстве, всегда находится только в моменте настоящего и представляет собой вместе с остальной материальной вселенной беспрерыв-

254 Отношение прошлого к настоящему

но возобновляемый срез всеобщего становления. Тогда или вы должны предположить, что эта вселенная настоящим чудом погибает и воскресает каждое мгновение длительности, или вы должны будете перенести на нее ту непрерывность существования, в которой вы отказываете сознанию, и сделать из ее прошлого переживающую себя и продолжающуюся в настоящем реальность. Вы, таким образом, ничего не выигрываете, накапливая воспоминания в материи, и наоборот, будете еще вынуждены распространить на совокупность состояний материального то независимое и целостное сохранение прошлого, в котором вы отказываете психологическим состояниям. Это сохранение прошлого как такового себе оказывает, таким образом, в той или иной форме неизбежным, и нам трудно его понять просто потому, что мы приписываем ряду воспоминаний во времени ту необходимость содержать бытие содержимым, которая верна только относительно совокупности тел, моментально воспринимаемых в пространстве. Основная иллюзия заключается в том, что мы переносим на саму текущую длительность форму ряда мгновенных срезов, которые мы в ней делаем.

Но как может прошлое, согласно гипотезе переставшее существовать, сохраняться само собой? Нет ли здесь и в самом деле противоречия? – На это мы отвечаем, что вопрос как раз в том и состоит, действительно ли прошлое перестало существовать или просто перестало быть полезным. Вы произвольно определяете настоящее как то, что есть, тогда как настоящее – это просто то, что совершается. Но меньше всего есть настоящий момент, если вы под этим подразумеваете тот неделимый предел, который отделяет прошлое от будущего. Когда мы мыслим это настоящее как то, что должно наступить, его еще нет, а когда мыслим его как существующее, оно уже прошло. Если же, напротив, вы будете рассматривать конкретное настоящее, реально переживаемое сознанием, можно сказать, что это настоящее большей частью состоит в непосредственном прошлом. За ту долю секунды, в течение которой длится самое краткосрочное из возможных восприятий света, произошло триллионы вибраций, из которых первая отделена от последней тысячекратно делимым интервалом. Таким образом, ваше восприятие, каким бы оно ни было мгновенным, состоит из неисчислимого множества вспоминаемых элементов, и по сути дела всякое восприятие уже есть память. Практически мы воспринимаем только прошлое, так как чистое настоящее представляет собой неуловимое поступательное движение прошлого, которое подтачивает будущее.

Своим свечением сознание, таким образом, ежемоментно освещает ту непосредственную часть прошлого, которое, склоняясь к будущему, стремится его реализовать и присоединить к себе. Занятое исключительно такого рода детерминацией неопределенного будущего, сознание может распространить немного света и на те наши более отдаленные прошлые переживания, которые могли бы полезно сочетаться с нашим настоящим состоянием, то есть с нашим непосредственным прошлым, – прочее же остается неосвещенным. Именно в этой освещенной части нашей истории, в силу основного закона жизни, закона действия, мы и остаемся расположенными: отсюда испытываемая нами трудность понимания способа существования воспоминаний, которые должны сохраняться в неосвещенной области. Наша неприязнь к допу-

Память и дух 255

щению полного интегрального сохранения прошлого обусловлена, следовательно, самим направлением нашей психической жизни, которая представляет собой подлинное развитие, или поступательное развертывание состояний, и где весь наш интерес сосредоточен на том, что развивается, а не на том, что уже полностью развилось.

Так, длинным обходным путем мы возвращаемся к нашей отправной точке. Мы

говорили, что существует две глубоко различные разновидности памяти. Одна из них, фиксируемая в организме, представляет собой не что иное, как совокупность рационально устроенных механизмов, которые обеспечивают соответствующий двигательный отклик на различные возможные запросы. Благодаря этой памяти, мы приспособляемся к наличной ситуации, и благодаря этой памяти, испытываемые нами воздействия сами собой продолжают в ответные реакции, – то осуществляемые, то лишь намечаемые, но всегда более или менее адекватные. Это скорее привычка, чем память, она пускает в дело наш прошлый опыт, но не вызывает его образа. Другая разновидность – это настоящая память. Совпадающая по протяженности с сознанием, она удерживает и последовательно выстраивает одно за другим, по мере того, как они наступают, все наши состояния, оставляя за каждым произошедшим его место (и таким образом обозначая его дату) и действительно двигаясь в ставшем и определившемся прошлом, в отличие от первой памяти, которая действует в непрестанно начинающемся настоящем. Но глубоко различив эти две формы памяти, мы не показали их связи. Находясь как бы над телом, с его механизмами, представляющими собой накопленное усилие прошлых действий, воображающая и воспроизводящая память витала, подвешенная в пустоте. Но если мы никогда ничего не воспринимаем, кроме нашего непосредственного прошлого, и если наше сознание настоящего – это уже память, то два вида памяти, первоначально нами разделенные, оказываются тесно спаянными вместе. В самом деле, наше тело, рассматриваемое с этой новой точки зрения, суть не что иное, как неизменно возрождающаяся часть нашего представления, всегда наличная, или, скорее, всегда только прошедшая. Будучи образом, это тело не может накапливать образы, так как оно составляет их часть, и поэтому попытка локализовать в мозге прошлые или даже наличные восприятия химерична: не восприятия находятся в мозге, а мозг – это один из образов. Но тот совершенно особый образ, который постоянно присутствует посреди других образов и который я называю своим телом, ежемоментно, как было сказано, конституирует поперечный срез универсального становления. Этот образ, следовательно, представляет собой место прохождения воспринятых и отраженных движений, соединительную черту между вещами, на которые я воздействую, и вещами, которые воздействуют на меня, словом, местонахождение сенсомоторных феноменов. Если в виде конуса АВ я изобраа-

256 Отношение прошлого к настоящему

жу совокупность воспоминаний, накопленных в моей памяти, то его основание АВ, находящееся в прошлом, будет оставаться неподвижным, между тем как вершина S, которая будет изображать мое настоящее в любой данный момент, непрерывно будет идти вперед и так же непрерывно соприкасаться с подвижной плоскостью Р, – моим актуальным представлением универсума. В S концентрируется образ тела, и, составляя часть плоскости Р, этот образ ограничивается восприятием и отражением действий, которые исходят от всех других образов, принадлежащих плоскости.

Память тела, образованная из совокупности сенсомоторных систем, организованных привычкой – это, следовательно, память как бы моментальная, для которой настоящая память о прошлом служит основанием. Так как они не образуют двух отдельных вещей, так как память, как мы сказали, – это не что иное, как подвижная точка, соединяющая вторую память с двигающейся плоскостью опыта, – естественно, что эти функции друг друга предполагают и поддерживают. В самом деле, с одной стороны, память о прошлом предоставляет сенсомоторным механизмам все воспоминания, способные уточнить их задачу и направить двигательную реакцию так, как это подсказывают уроки опыта: в этом как раз и состоят ассоциации по смежности и по сходству. Но с другой стороны, сенсомоторные приспособления дают бездейственным, а значит, бессознательным воспоминаниям средство обрести плоть, материализоваться, стать в итоге наличными. Для того, чтобы воспоминание вновь появилось в сознании, необходимо, чтобы оно спустилось с высот чистой памяти – к той строго определенной точке, где совершается действие. Другими словами, именно от настоящего исходит призыв, на который отвечает воспоминание, но именно от сенсомоторных элементов наличного действия воспоминание заимствует дающее жизнь тепло.

Разве не по устойчивости этого согласования и не по точности, с которой эти две взаимодополняющие памяти вписываются одна в другую, мы узнаем "хорошо уравновешенные умы", то есть, в сущности, людей, в совершенстве приспособленных

к жизни? Человек действия отличается именно той быстротой, с какой он призывает для осмысления данной ситуации все воспоминания, имеющие к ней отношение, но для него также характерна и непреодолимая преграда на пороге сознания для всех бесполезных или индифферентных воспоминаний. Жить исключительно в настоящем, сразу отвечать на возбуждение продолжающей его непосредственной реакцией – свойство низшего животного: когда так поступает человек, говорят, что он импульсивен. Но не лучше приспособлен к действию и тот, кто живет в прошлом только потому, что это ему приятно, и у кого воспоминания возникают в просвете сознания без какой-либо пользы для актуальной ситуации: это уже не импульсивный человек, а мечтатель. Между этими двумя крайностями располагается наиболее удачная диспозиция памяти, достаточно пластичной, чтобы с точностью следовать контурам наличной ситуации, но вместе с тем и достаточно энергичной, чтобы противостоять всякому прочему призыву. В этом, по-видимому, собственно и состоит здравый смысл, или практическая смекалка.

Бросающееся в глаза развитие спонтанной памяти у большинства

Память и дух 257

детей обусловлено именно тем, что они еще не согласовали свою память со своим поведением. Обычно они следуют впечатлению данного момента, и так же как их поступки не подчиняются указаниям воспоминаний, их воспоминания, со своей стороны, не лимитируются потребностями действия. Они, по-видимому, легче запоминают только потому, что менее разборчиво вспоминают. Кажущееся уменьшение памяти, по мере того, как развиваются умственные способности, зависит, таким образом, от увеличивающейся взаимосвязи воспоминаний с действиями/Таким образом, сознательная память выигрывает в проницательности за счет того, что теряет в протяженности: сперва она обладает легкостью памяти сновидений, но это было вызвано тем, что она действительно грезит. Отметим, в дополнение, что такая же необычная способность спонтанной памяти наблюдается у людей, умственное развитие которых не превышает развития ребенка. Один миссионер, после длинной проповеди дикарям Африки, наблюдал, как один из слушателей дословно повторил его проповедь с теми же жестами от начала до конца.

Но если наше прошлое обычно целиком от нас скрыто, будучи вытеснено потребностями актуального действия, то оно находит в себе силы для перехода через порог сознания во всех тех случаях, когда мы перестаем интересоваться эффективным действием, чтобы так или иначе перенестись в жизнь грез. Естественный или искусственный сон вызывает именно такую отрешенность от действия. Недавно же нам доказали, что во сне происходит нарушение контакта между сенсорными и моторными нервными элементами. Но и помимо этой остроумной гипотезы, нельзя не видеть, что во время сна имеет место по крайней мере функционального ослабления напряженности нервной системы, в состоянии бодрствования всегда готовой ответить на полученное возбуждение соответствующей реакцией. "Экзальтация" же памяти при определенных сновидениях и в определенных сомнамбулических состояниях – это общеизвестный факт наблюдения. С поразительной точностью возникают тогда воспоминания, казавшиеся* совершенно исчезнувшими: мы переживаем во всех подробностях давно позабытые сцены детства и говорим на языках, которые даже не помним, когда учили. Но наиболее показательным в этом отношении то, что наблюдается в случае внезапного удушья: у тонувших и пытавшихся повеситься. Вернувшись к жизни, пострадавший рассказывает, что за короткое время перед ним прошли все забытые события его истории, с самыми незначительными обстоятельствами и в том порядке, в котором они совершались.

Человек, который существовал бы не живя, агрезя и воображая, без сомнения, тоже постоянно имел бы перед глазами бесконечное множе-

Kay, Memory and how to improve it, New-York, 1888, p. 18.

Mathia Duval, Théorie histologique du sommeil (C.R. de la Soc. de Biologie, 1895, p. 74). – см. Lépine, ibid, p. 85, et Revue de Médecine, août

1894. и особенно Pupin, Le neurone et les hypothèses histologiques, Paris, 1896.

Winflow, Obscure Diseases of the Brain, p. 250 et suiv. – Ribot, Maladies de l'âme, p. 139 et suiv. – Maury, Le sommeil et les rêves. Paris, p. 439. – Egger, Le moi des mourants (Revue Philosophique, janvier et octobre 1896.) – Ср. выражение Балла: "Память – это способность, которая ничего не теряет и все регистрирует." Щитир. А. Руюром: Roui Hard, Les amnésies, These de médecine, Paris, 1885, p. 25).

258 Общая идея и память

ство деталей своей прошлой истории. Тот же, напротив, кто отказался бы пользоваться этой образной памятью, со всем тем, что она порождает на каждом шагу, непрестанно разыгрывал бы свое существование, не имея возможности по-настоящему себе его представить: как автомат, наделенный сознанием, он следовал бы туда, куда его склоняют полезные привычки, переводящие возбуждение в соответствующую реакцию. Первый никогда не выходил бы за пределы частного и даже индивидуального. Оставляя каждому образу его дату во времени и место, в пространстве, он видел бы, чем каждый образ отличается от других но не видел бы, в чем он с ними сходен. Второй же, всегда направляемый привычкой, наоборот, выделял бы в каждой ситуации только ту ее сторону, которая в практическом отношении уподобляет эту ситуацию предыдущим. Неспособный, без сомнения, мыслить общее, так как общая идея предполагает по крайней мере виртуальное представление множества вспоминаемых образов, он все же пребывал бы в измерении всеобщего, так как привычка для действия – это то же, что общее для мысли. Но два этих крайних состояния, одно – безусловного преобладания созерцательной памяти, которая в своем созерцании улавливает только частное, другое – сохранения только моторной памяти, налагающей печать обобщенности на свое действие, обособляются и обнаруживаются в полной мере только в исключительных случаях. В нормальной жизни они тесно перемешиваются и проникают друг в друга, теряя при этом, как то, так и другое, часть своей первоначальной чистоты. Первое тогда выражается в воспоминании различий, второе – в восприятии подобий: у слияния двух этих потоков появляется общая идея.

Здесь не идет речь о каком-то разрешении сразу всего блока вопросов об общих идеях. Среди этих идей есть имеющие своим источником не только восприятия и лишь очень отдаленно соотносящиеся с материальными предметами. Мы оставим их в стороне и рассмотрим только те общие идеи, которые основаны на том, что мы называем восприятием подобий. Мы хотели бы исследовать чистую память, память интегральную, в ее непрерывном усилии перейти в двигательную привычку. Этим мы сделаем более понятными роль и природу этой памяти, но этим же самым мы, может быть, еще и осветим – рассмотрев их в совершенно особом аспекте – два не менее темных понятия: подобия и общность.

Сближая между собой, насколько это возможно, трудности психологического порядка, возникающие вокруг проблемы общих идей, можно было бы, как мы думаем, свести их к следующему кругу: чтобы обобщать, нужно сначала абстрагироваться, но чтобы с пользой абстрагироваться, надо уже уметь обобщать. Именно к этому логическому кругу относятся, сознательно или бессознательно, и номинализм, и концептуализм, и каждая из этих доктрин существует прежде всего за счет ясности другой. Номиналисты, по сути дела, видя в общей (ее только ее протяженность, рассматривают ее просто как открытый бесконечный ряд индивидуальных объектов. Следовательно, единство ей состоит для них только в тождестве символа, которым мы обозначаем, не различая, все эти различные предметы. Если им верить, мы начинаем с восприятия вещи, потом присваиваем ей слово: это слово, благодаря способности или привычке распространяться на неопределенное.

Память и дух

ленное число других вещей, возводится в итоге в разряд общих идей. Но для того, чтобы это слово могло распространяться на обозначаемые им предметы и, вдобавок, ими же ограничиться, необходимо, чтобы эти предметы имели в наших глазах сходные черты, которые, сближая их между собой, вместе с тем отличали бы их от всех тех предметов, к которым это слово не применимо. Таким образом, обобщение, по-видимому, не может обойтись без абстрактного рассмотрения общих качеств, и номинализм оказывается перед необходимостью определять общую идею ее понятийным содержанием, а не только ее объемом, что он предполагал сделать вначале. Концептуализм же исходит из понятийного содержания идеи. Согласно концептуализму, интеллект расчленяет поверхностное единство индивида на различные качества, каждое из которых, будучи выделено из ограничивавшего его индивидуального целого, тем самым становится представителем рода. Вместо того, чтобы рассматривать каждый род как актуально содержащий множество предметов, концептуализм хотел бы, чтобы теперь каждый предмет содержал в себе, в возможности, множество родов, в виде такого же числа зафиксированных в нем качеств. Но вопрос как раз и состоит в том, не остаются ли эти индивидуальные качества, даже изолированные усилием абстракции, как и прежде индивидуальными, и не нужно ли, для возведения их на родовой уровень, нового усилия разума, посредством которого каждому качеству будет сначала дано название, а затем под этим названием будет собрано множество индивидуальных предметов. Белизна лилии – это не белизна снега: будучи изолированы от снега и от лилии, они остаются белизной лилии и белизной снега. Они лишаются своей индивидуальности только тогда, когда мы сосредоточиваемся на их сходстве, обозначая их общим именем: применив после этого общее наименование к неопределенному числу подобных предметов, мы посредством своего рода рикошета переносим на качество то общее, что было найдено при применении слова к вещам. Но рассуждая таким образом, разве мы не возвращаемся на точку зрения номиналиста, которую мы оставили? Мы, стало быть, на самом деле вращаемся в круге: номинализм приводит нас к концептуализму, концептуализм возвращает к номинализму. Обобщение можно осуществить только посредством извлечения общих качеств; но чтобы приобрести вид общих, эти качества должны быть уже до этого подвергнуты генерализации.

Углубившись теперь в эти две противоборствующие теории, можно обнаружить в них один общий постулат: и та, и другая предполагают, что мы исходим из восприятия индивидуальных предметов. Первая теория предлагает образовать род посредством энумерации, вторая – выделить его с помощью анализа; но и анализ, и энумерация применяются к индивидам, рассматриваемым как реальности, данные непосредственной интуиции. В этом, собственно, и состоит общий постулат. Несмотря на свою кажущуюся очевидность, он и недостоверен, и не согласуется с фактами.

A priori кажется, что ясное различие индивидуальных предметов означает некое особое, избыточное совершенство восприятия, подобно тому как ясное представление общих идей означает рафинированность ума. Совершенное понимание родов составляет, конечно, свойство человеческой мысли: оно требует усилия рефлексии

260 Общая идея* и память

го мы стираем присущие представлению особенности времени и места. Но рефлексия над особенностями, рефлексия, без которой от нас ускользала бы индивидуальность предметов, предполагает способность замечать различия, а значит, предполагает и образную память, что, несомненно, составляет привилегию человека и высших животных. По-видимому, мы на самом деле начинаем и не с восприятия индивида, и не с понимания рода, но с опосредующего знания, с неясного чувства характерного качества, или подобия: это чувство, одинаково далекое и от полностью понятной общности, и от ясно воспринятой индивидуальности. Рефлексивный анализ очищает его, получая общую идею, различающая память же подкрепляет, улучшая восприятие индивидуального.

Это становится ясным, если мы обратимся к целиком утилитарному происхождению нашего восприятия вещей. В данной ситуации нас больше всего интересует и мы

прежде всего должны уловить ту ее сторону, которая может отвечать какой-то нашей склонности или потребности: потребность же непосредственно направлена на подобие или качество, ей нечего делать с индивидуальными различиями. Восприятие животных вынуждено обычно ограничиваться таким выделением полезного. Травоядное привлекает травянообщее: цвет и запах трав, ощущаемые и переживаемые как силы (мы удерживаемся, чтобы не сказать: мыслимые как качества или роды), составляют единственные непосредственные данные внешнего восприятия. На этом фоне общности или подобия память животного может выделить определенные контрасты, что порождает способность различения: животное сможет отличить после этого один пейзаж от другого, одно поле от другого, но это уже будет, повторяем, своего рода избыточное, а не необходимое восприятие. Нам могут сказать на это, что мы только отодвигаем проблему и просто отбрасываем в бессознательное тот процесс, посредством которого выделяются сходства и устанавливаются роды. Но мы ничего не отбрасываем в бессознательное – по той простой причине, что, как нам кажется, сходство выделяется здесь не в результате какой-то операции психологической природы: это сходство действует объективно, как сила, вызывающая тождественные реакции согласно чисто физическому закону, по которому одни и те же совокупные следствия должны следовать из одних и тех же глубинных причин. Если соляная кислота всегда одинаково действует на углекислую известь – будь то мрамор или мел, то разве кто-нибудь утверждает, что кислота различает в этих видах характерные черты своего рода? Однако же нет существенной разницы между процессом, с помощью которого эта кислота выделяет основание из соли, и процессом, посредством которого растение неизменно выделяет из самых различных почв одни и те же элементы, которые должны послужить ему пищей. Сделаем теперь еще один шаг: представим себе некое рудиментарное сознание – может быть, сознание амебы,двигающейся в капле воды: это крошечное существо будет чувствовать прежде всего не различия, а сходства органических веществ, которые оно способно усваивать. Словом, можно проследить – от минерала до растения, от растения до простейших сознательных существ, от животного до человека – прогресс той операции, с помощью которой вещи и существа улавливают в окружающем то, что их

Память и дух²⁶¹

привлекает, что их практически интересует, не нуждаясь в абстракции, а просто потому, что все остальное в окружающем их не захватывает: это тождество реакции на внешне различные действия и есть тот зародыш, из которого человеческое сознание развивает общие идеи,

Задумаемся, в самом деле, о том назначении нашей нервной системы, которое, по-видимому, следует из ее структуры. Мы видим самые разнообразные механизмы восприятия, соединенные через опосредующие центры с одними и теми же моторными механизмами. Ощущение неустойчиво: оно может приобретать самые разнообразные оттенки; моторный же механизм, наоборот, однажды установившись, неизменно будет действовать одним и тем же образом. Можно, следовательно, предположить самые разнообразные во внешних деталях восприятия: если они продолжатся в одни и те же двигательные реакции, если организм может извлечь из них одни и те же полезные следствия, если они вырабатывают у тела одну и ту же моторную установку – это означает, что в них выделяется нечто общее и что общая идея должна быть таким образом прочувствована, пережита, испытана, прежде, чем она сможет стать представлением.

Итак, мы в конечном итоге освободились от круга, в котором, как нам казалось, были сначала заключены. Чтобы обобщать, говорили мы, необходимо абстрагировать сходные свойства, но чтобы выделить сходство и извлечь пользу, надо уже уметь обобщать. На самом деле круга этого нет, потому что сходство, которое составляет исходную точку ума, когда он первоначально абстрагирует, – это не то сходство, к которому приходит ум, когда он, уже сознательно, обобщает. Сходство, из которого он исходит, – это сходство прочувствованное, прожитое, или, если угодно, выделяемое автоматически. То же, к которому он приходит, – это сходство, разумно воспринимаемое, или мыслимое. Но именно в ходе этого процесса, сдвоенным усилием рассудка и памяти складывается восприятие индивидов и восприятие родов: память устанавливает в спонтанно абстрагированных сходствах различия, рассудок же, основываясь на привычке выделять сходное, извлекает ясную общую идею. Изначально

эта общая идея была не чем иным, как нашим сознанием тождества моторной установки при разнообразии ситуаций: это была та же привычка, восходящая из сферы движений в сферу мысли. Но от родов, механически очерченных привычкой, благодаря усилению рефлексии над этим процессом, мы перешли к общей идее рода, и как только эта идея была конституирована, образовали, теперь уже сознательно, неограниченное число общих понятий. Здесь нет необходимости следовать за интеллектом во всех деталях этого образования понятий. Скажем только, что интеллект, подражая работе природы, также создал моторные устройства, на этот раз искусственные, чтобы с помощью ограниченного числа этих устройств отвечать на неограниченную множественность индивидуальных предметов: совокупность этих механизмов образует членораздельную речь. Впрочем, эти две разнонаправленные операции ума – одна, посредством которой он проводит различия индивидов, другая, служащая ему для образования родов, отнюдь не требуют одинакового усилия и не идут с одинаковой скоростью. Первая, не требующая ничего, кроме вмешательства памяти, осуществляется с самого начала нашего опыта, вторая – продолжи-

262 Ассоциация идей

ется бесконечно, никогда не заканчиваясь. Первая завершается конституированием устойчивых образов, которые затем накапливаются в памяти; вторая создает нестойкие и исчезающие представления. Остановимся на этом последнем пункте: здесь мы касаемся существенного феномена ментальной жизни.

Сущность общей идеи в действительности состоит в том, чтобы непрерывно обращаться между сферой действия и сферой чистой памяти. В самом деле, вернемся к уже начерченной нами схеме. В S будет по-прежнему находиться актуальное восприятие мною моего тела, то есть определенное сенсомоторное равновесие. На поверхности основания AB будет теперь расположена вся совокупность моих воспоминаний. В заданном таким образом конусе общая идея будет непрерывно колебаться между вершиной S , и основанием AB . В S она приобретет ясную форму телесной установки или произносимого слова; в AB же – будет иметь не менее ясный вид тысячи индивидуальных образов, в которых будет дробиться ее хрупкое единство. Вот почему психология, которая держится у же законченного, знакома только свещами игнорирует прогрессии, не увидит в этом колебательном движении ничего, кроме экстремумов, между которыми оно совершается; она отождествит общую идею то ли с действием, которое ее осуществляет, или словом, которое ее выражает, то ли с беспредельным по числу множеством образов, составляющих ее эквивалент в памяти. Но суть дела в том, что общая идея ускользает от нас, стоит нам вознамериться укрепить ее у того или другого из этих двух экстремумов. Она состоит в двойном течении, идущем от одного из них к другому, всегда готовая то кристаллизоваться в словах, то рассеяться в воспоминаниях.

Это возвращает нас к тезису, что между сенсомоторными механизмами, изображаемыми точкой S , и совокупностью воспоминаний, расположенных в плоскости AB , вмещаются, как мы указали это в предыдущей главе, тысячи и тысячи повторных воспроизведений нашей психологической жизни, изображаемых сечениями $A'V'$, $A''V''$ и т. д., того же конуса. По мере того, как мы отдаляемся от нашего сенсомоторного наличного состояния, мы все более рассеиваемся в AB , погружаясь в жизнь грез; по мере же того, как мы крепче привязываемся к наличной реальности, отвечая двигательными реакциями на чувственные возбуждения, мы все больше сосредоточиваемся в S . фактически, нормальное я никогда не фиксируется ни в одном из этих крайних положений: оно двигается между ними, поочередно занимает позиции, изображаемые промежуточными сечениями или, другими словами, ровно настолько придает своим представлениям черты образа и ровно настолько черты идеи, чтобы они могли принимать полезное участие в наличном действии.

Из этой концепции низших форм ментальной жизни могут быть выведены законы ассоциации идей. Но прежде чем приступить к этому вопросу, покажем недостаточность расхожих теорий ассоциации.

Не подлежит сомнению, что каждая возникающая в уме идея имеет отношение сходства или смежности с предыдущим ментальным состоянием: но такое утверждение не проясняет механизма ассоциации и по сути дела ровно ничему нас не учит. В самом деле, нельзя найти ни одной пары идей, которые не имели бы между собой какой-либо сходной черты или не соприкасались какой-либо-стороной. Так, если речь идет о сходстве, то как бы глубоки ни были различия, разделяющие два образа, всегда можно найти – поднявшись достаточно высоко – общий род, к которому они принадлежат, и, следовательно, сходство, их соединяющее. Если же рассмотреть отношение смежности, окажется, что восприятие А, как мы сказали выше, вызывает "по смежности" прошлый образ В, лишь когда оно вызывает сперва схожий с А образ А', потому что в В реально соприкасается в памяти не восприятие А, а воспоминание А'. И каким бы далекими друг от друга ни предполагали элементы А и В, между ними всегда можно установить отношение по смежности, если опосредующий элемент А' имеет с А достаточно отдаленное сходство. Это значит, что между любыми двумя наугад взятыми идеями всегда есть сходство и всегда, если угодно, можно найти смежность, так что обнаружение отношения смежности или сходства между двумя следующими друг за другом представлениями ничуть не объясняет, почему одно из них вызывает другое.

Подлинный же вопрос состоит в том, чтобы узнать, как осуществляется селекция между бесконечным числом воспоминаний, каждое из которых какой-то своей стороной походит на наличное восприятие, и почему одно единственное из них – именно это, а не другое – возникает в просвете сознания. Но на этот вопрос ассоцианизм ответить не может, потому что и идеи, и образы он возводит до уровня независимых сущностей, плавающих, подобно атомам Эпикура, во внутреннем пространстве, сближающихся и сцепляющихся, когда случайность приводит их в сферу притяжения друг друга. Углубив это учение в данном пункте, мы увидели бы, что его ошибка состоит в слишком большой интелтуализации идей, в придании им чисто спекулятивной роли, в признании, что они существуют сами ради себя, а не ради нас, в том, что упускается из внимания, не признается их отношение к активности воли. Если воспоминания, оставаясь индифферентными, блуждают в инертном и аморфном сознании, то нбт никакой разумной причины, чтобы наличное восприятие привлекло одно из них, отдав ему предпочтение перед другими: я мог бы тогда только констатировать их встречу, поскольку она произошла, и говорить о сходстве или смежности, а это сводится в сущности, к смутному признанию, что состояния сознания родственны друг другу.

Но само это родство, принимающее двойную форму смежности и сходства, ассоцианизм не может ничем объяснить. Общая тенденция к ассоциированию остается в этом учении такой же темной, как и частные формы ассоциации. Представив индивидуальные воспоминания-образы как совершенно готовые вещи, раз и навсегда входящие в течение нашей умственной жизни, ассоцианизм вынужден предполагать между этими предметами таинственные силы притяжения, о которых нельзя даже сказать заранее, как о физическом притяжении, в каких явлениях они обнаружатся. Зачем самодовлеющий, согласно гипотезе,

264 Ассоциация идей

образ стал бы присоединять к себе другие образы, сходные с ним или данные как смежные? Все дело в том, что этот независимый образ представляет собой искусственный и вторичный продукт ума. Фактически же мы воспринимаем сходства раньше, чем схожих между собой индивидов, и в агрегате смежных частей целое воспринимаем раньше этих частей. Мы идем от сходства к сходным предметам, вышивая по сходству, этой общей канве, вариацию индивидуальных различий. И мы идем также от целого к частям, продельвая работу расчленения, закон которого мы опишем ниже, дробя в целях насколько возможно большего удобства практической жизни непрерывность реального. Ассоциация, следовательно, – это не первичный факт: мы начинаем с диссоциации, и тенденция каждого воспоминания присоединять к себе другие воспоминания объясняется естественным возвратом ума к нераздельному единству восприятия.

Здесь мы обнаруживаем коренной недостаток ассоцианизма. Раз дано наличное восприятие, которое постепенно образует с различными воспоминаниями множество последовательных ассоциаций, существует, как мы сказали, два способа представления механизма этой ассоциации. Можно предположить, что восприятие остается тождественным самому себе, настоящим психологическим атомом, присоединяющим к себе другие восприятия по мере того, как эти восприятия около него проходят. Такова точка зрения ассоцианизма. Но есть и другая точка зрения, и именно ее мы обозначали в нашей теории узнавания. Мы предположили, что наша личность, вся в целом, с тотальностью наших воспоминаний, оставаясь нераздельной, входит в восприятие настоящего момента. В таком случае, если это восприятие круг за кругом вызывает различные воспоминания, то это происходит не путем механического присоединения все большего и большего числа элементов, которые восприятие, будучи неподвижным, к себе привлекает: все наше сознание целиком расширяется и, разливаясь в результате на более обширной поверхности, может подвергнуть более детальной инвентаризации свое богатство: так туманное звездное скопление, наблюдаемое во все более и более сильные телескопы, распадается на увеличивающееся число звезд. Согласно первой гипотезе (которая опирается только на кажущуюся простоту и аналогию с плохо понятым атомизмом), каждое воспоминание образует независимое и фиксированное сущее, о котором нельзя сказать, ни почему оно направлено на присоединение к себе других воспоминаний, ни как оно их выбирает для ассоциации – по смежности или по сходству – среди тысяч других воспоминаний с такими же правами. Приходится предположить, что эти идеи сталкиваются случайно или что между ними действуют таинственные силы, но это, помимо всего прочего, вступает в противоречие со свидетельством сознания, которое никогда не демонстрировало нам таких независимо перемещающихся психологических фактов. Во второй же гипотезе речь идет только о констатации единства и согласованности психологических фактов, всегда данных непосредственному сознанию вместе, как нераздельное целое, которое только применение рефлексии расчленяет на отдельные фрагменты. Но тогда нужно объяснять уже не связность внутренних состояний, но то двойное движение сжатия и расширения, посредством которого сознание сокращает или увеличивает

Память и дух²⁶⁵

ет свое содержание. Однако это движение рождается, как мы увидим, из основных потребностей жизни, и легко объясняется также, почему те "ассоциации", которые мы, как нам кажется, образуем по пути этого движения, исчерпывают все градации смежности и сходства.

Представим себе на одно мгновение, что наша психологическая жизнь сводится к одним сенсомоторным функциям. Другими словами, расположимся на той схематической фигуре, которую мы начертили, в точке S, соответствующей насколько возможно полному упрощению нашей моментальной жизни. В этом состоянии любое восприятие само собой продолжается в соответствующие реакции, потому что предыдущие аналогичные восприятия уже выработали более или менее сложные моторные приспособления, которые ждут только повторения того же вызова, чтобы быть приведенными в действие. Но в этом механизме содержится как ассоциация по сходству, потому что наличное восприятие действует в силу его подобия прошлым восприятиям, так и ассоциация по смежности, потому что движения, следовавшие за этими прошлыми восприятиями, репродуцируются и даже могут повлечь за собою неопределенное число действий, координированных с первым. Мы, таким образом, улавливаем здесь, у самого их истока и почти сливающимися вместе – конечно же, еще совершенно не осознанные, но практически осуществляемые и переживаемые, – ассоциацию по сходству и ассоциацию по смежности. При этом речь не идет о каких-то случайных формах нашей психологической жизни. Эти ассоциации представляют собой два дополняющих друг друга аспекта одного и того же основного стремления – стремления всякого организма извлечь из наличной ситуации все, что в ней есть полезного, и отложить про запас в виде двигательной привычки выработанную к данному случаю реакцию, чтобы использовать ее в ситуациях такого же рода.

Перенесемся теперь сразу к противоположному экстремуму нашей ментальной жизни. Перейдем, согласно нашему методу, от психологического существования, состоящего в простом "разыгрывании" к психологическому существованию, сводящемуся

исключительно к "грезе". Другими словами, переместимся на то основание АВ, основание памяти, где в мельчайших подробностях запечатлеваются события нашей прошлой жизни. Будучи оторванным от действия, сознание, которое держало бы, таким образом, в поле своего зрения тотальность собственного прошлого, не имело бы никакого разумного основания зафиксироваться скорее на одной, чем на другой части этого прошлого. С одной стороны, все его воспоминания отличались бы от его актуального восприятия, так как два воспоминания, взятые во всем многообразии своих деталей, никогда не бывают тождественными. Но с другой стороны, с наличной ситуацией можно было бы сблизить какое-то воспоминание: достаточно отвлечься в этом восприятии и в этом воспоминании от соответствующего числа деталей и станет видно только их сходство. К тому же, как только воспоминание установит связь с восприятием, множество сопряженных с этим воспоминанием событий тем самым тоже окажется с ним в связи, причем это будет бесконечное множество, которое можно ограничить, только произвольно выбрав точку прекращения его расширения. Здесь нет уже жизненных потребностей, способных урегулировать этот эффект сходства, а значит, и смежности, а

266 Срез грез и срез действия

так как в сущности все сходно, то все может быть ассоциировано. Актуальное восприятие только что продолжалось в определенные движения – теперь же оно растворяется в бесконечности одинаково возможных воспоминаний. Таким образом, ассоциация привела бы в АВ к произвольному выбору, тогда как в S – к фатальной последовательности действий.

Однако это лишь крайние пределы, у которых должен поочередно для удобства изучения находиться психолог, но которые фактически никогда не достигаются. Не существует, по крайней мере у человека, чисто сенсомоторного состояния, как не бывает у него и чисто воображаемой жизни, без подосновы смутной активности. Как мы уже сказали, наша нормальная психологическая жизнь колеблется между этими двумя крайностями. С одной стороны, сенсомоторное состояние S ориентирует память, будучи в сущности не чем иным, как ее актуальным и активным экстремумом, а с другой стороны, сама эта память, со всей совокупностью нашего прошлого, оказывает давление на настоящее, чтобы наложиться на наличное действие как можно большей своей частью. Из этого двойного усилия каждое мгновение образуется неопределенное множество возможных состояний памяти, изображенных на нашей схеме сечениями A'V', A''V'' и т. д. Мы сказали, что каждое из них – повторение всей нашей прошлой жизни. Но каждое из этих сечений более или менее обширно, в зависимости от того, приближается ли оно к основанию или к вершине; кроме того, каждое из этих полных представлений нашего прошлого выводит в просвет сознания лишь то, что может вписаться в данное сенсомоторное состояние, а следовательно, то, что сходно с наличным восприятием с точки зрения подлежащего выполнению действия. Другими словами, интегральная память отвечает на запрос наличного состояния двумя одновременными движениями: поступательным, посредством которого она целиком сдвигается навстречу опыту и, таким образом, более или менее сжимается, ввиду действия, при этом не разделяясь, и движением самообращения, посредством которого ориентируется, обращаясь к ситуации данного момента наиболее полезной своей стороной. Этим различным степеням сжатия соответствуют разнообразные формы ассоциации по сходству.

Все происходит, следовательно, так, как будто наши воспоминания беспредельное число раз повторяются в тысячах и тысячах возможных сокращенных выражений нашей прошлой жизни. Они принимают более обобщенную форму, когда память сжимается сильнее, и становятся более личными, когда память расширяется, и таким образом входят в неограниченное множество различных "систематизации". Слово, сказанное на иностранном языке, может заставить меня подумать об этом языке вообще или о голосе, который когда-то произносил это слово определенным образом. Эти две ассоциации по сходству не зависят от случайного появления двух различных представлений, наугад вовлеченных в сферу притяжения актуального восприятия. Они соответствуют двум различным ментальным установкам, двум различным степеням напряжения памяти; в одном случае установке, более близкой к чистому образу, в другом – более расположенной к непосредственному ответу, то есть действию. Классифицировать эти системы, изучить законы, которые взаимосвязывают каждую из них с различными "тонусами" нашей умственной жизни, показать,

Память и дух267

как каждый из этих тонусов сам определяется необходимостями момента, а также варьируемой степенью нашего личного усилия, было бы трудным предприятием: всю эту психологию еще предстоит разработать и в настоящий момент мы не хотим даже пытаться сделать это. Но каждый из нас чувствует, что законы эти есть, что существуют устойчивые соотношения такого рода. Мы знаем, например, когда читаем психологический роман, что некоторые ассоциации идей, которые нам описывают, достоверны, что они могли быть пережиты; другие же нас шокируют или не создают у нас впечатления реальности, потому что мы чувствуем в них результат механического сближения различных духовных уровней, как-будто автор не сумел удержаться на выбранной им плоскости ментальной жизни. Память, таким образом, имеет градацию степеней напряжения или оживления, которые, несомненно, трудно определить, но которые нельзя безнаказанно смешивать между собой тому, кто изображает душевную жизнь. К тому же эту истину, которую все мы знаем инстинктивно, подтверждает и патология – правда, на вчерне изученных примерах. Например, в "систематизированных амнезиях" истериков воспоминания, кающиеся утраченными, в действительности присутствуют, но все они относятся – это не подлежит сомнению – к определенному тонусу интеллектуальной жизненности, где для субъекта уже места не находится.

Если существует бесконечное число различных срезов для ассоциаций по сходству, то они существуют и для ассоциаций по смежности. В крайнем срезе, представляющем основание памяти, нет ни одного воспоминания, не связанного по смежности с совокупностью как предшествующих, так и последующих событий. Между тем в точке, где сосредоточено наше действие в пространстве, ассоциация по смежности приводит только к непосредственной реакции, в виде движения, следующего за восприятием, подобным прошлому. Фактически всякая ассоциация по смежности предполагает промежуточное положение духа между двумя крайними пределами. Если и здесь предположить скопление возможных повторений тотальности наших воспоминаний, каждый отдельный фрагмент нашей истекшей жизни расщелится особым, свойственным ему образом, на определенные пласты, и способ расщеления будет меняться при переходе от одного фрагмента к другому, потому что каждый из них характеризуется именно природой преобладающих воспоминаний, к которым другие воспоминания присоединяются, как к точкам опоры. Например, чем больше мы приближаемся к действию, тем больше смежность приближается к сходству и отличается, следовательно, от простого отношения хронологической последовательности: так, о словах иностранного языка, когда они вызывают друг друга в памяти, нельзя сказать, ассоциируются они по сходству или по смежности. Наоборот, чем больше мы отрешаемся от реального или возможного действия, тем больше ассоциация по смежности стремится просто и без всякого дополнения воспроизвести последовательные образы нашей прошедшей жизни. Приступать здесь к углубленному изучению этих различных систем не представляется возможным. Достаточно указать, что системы эти вовсе не образованы из рядоположенных воспоминаний, подобных такому же числу атомов. Всегда есть несколько преобладающих воспоминаний, ярких точек, вокруг которых остальные образуют смутную туманность. Эти яркие точки умножаются* по

268Внимание к жизни

мере расширения нашей памяти. Процесс локализации воспоминаний в прошлом, например, вовсе не заключается в том, как об этом говорят, чтобы рыться в массе воспоминаний, как в мешке, и вытаскивать оттуда воспоминания, все более близкие к искомому, между которыми и займет свое место то воспоминание, которое надо локализовать. С по-мощью какого счастливого случая мы попадем именно на увеличивающееся число промежуточных воспоминаний? Работа локализации в действительности состоит в растущем усилии экспансии посредством которого память, всегда целиком наличная для самой себя, распространяет свои воспоминания на все более и более обширную поверхность и наконец различает – в до той поры беспорядочном массиве – воспоминание, которое не могло найти свое место. Надо сказать, что и здесь патология памяти может дать нам поучительные указания. Похоже, что при ретроградной амнезии воспоминания, исчезающие из сознания,

сохраняются в окраинных срезах памяти, и пациент может найти их там при исключительном усилии -- таком, которое он совершает, например, в состоянии гипноза. Но, находясь в этих нижних пластах, воспоминания как бы ожидали преобладающего образа, вокруг которого они могли бы соединиться. То или иное внезапное потрясение или сильное волнение может стать определяющим событием, с которым они ассоциируются: если это событие в силу своей внезапности выпадет из остальной истории нашей жизни, они последуют за ним в забвение. Становится понятным отсюда, почему потеря памяти, следующая за нравственным или физическим потрясением, распространяется и на непосредственно предшествовавшие события, -- явление, которое очень трудно объяснить при всякой другой концепции памяти. Отметим это мимоходом: если не приписывать такого рода ожидания преобладающего образа свежим и даже относительно давним воспоминаниям, то нормальная работа памяти станет непонятной. Дело в том, что всякое событие, воспоминание о котором запечатлелось в памяти, каким бы оно ни было простым, занимало некоторое время. Таким образом, восприятия, которыми заполнен первый период этого интервала и которые образует теперь с последующими восприятиями нераздельное воспоминание, "висели в воздухе" до тех пор, пока не произошла определяющая часть события. И следовательно, между исчезновением какого-нибудь воспоминания с его разнообразными предварительными деталями и исчезновением, при ретроградной амнезии, более или менее большого числа предшествовавших данному событию воспоминаниям существует простая разница в степени, а не по существу.

, *Из этих различных взглядов на подсознательную ментальную жизнь вытекает известная теория интеллектуального равновесия. Это равновесие очевидно может быть нарушено только пертурбацией элементов, служащих ему материалом. Мы не можем ставить здесь задачу рассмотрения проблем патологии души, но мы, однако же, не можем и полностью исключить их, поскольку преследуем цель определить точную взаимосвязь тела и духа.

Мы предположили, что дух непрерывно пробегает интервал между двумя крайними пределами, между плоскостью действия и плоскостью образа, мечтания. Допустим, речь идет о принятии решения. Накапливая и организуя тотальность своего опыта в том, что мы называем

f

Память и дух · 269

характером, дух направит его к действиям, в которых вы найдете, вместе с прошлым, служащим им материей, непредсказуемую форму, которую придаст им личность; но действие будет выполнимым, только если оно вписывается в актуальную ситуацию, то есть ту совокупность обстоятельств, которая порождается определенным положением тела во времени и в пространстве. Если же речь идет об интеллектуальной работе, об образовании понятия, об извлечении более или менее общей, идеи из множества воспоминаний, то большой простор, с одной стороны, предоставляется фантазии, а с другой стороны, -- логическому различению: но идея, чтобы быть жизнеспособной, должна будет какой-то своей стороной касаться наличной реальности, то есть должна шаг за шагом, прогрессивно уменьшаясь или сжимаясь, стать такой, чтобы тело могло ее более или менее реализовать в действии, а дух одновременно с этим -- представить. Наше тело, с ощущениями, которые оно получает, и с движениями, которые оно способно выполнить, действительно, таким образом, представляет собой то, что фиксирует дух, что дает ему устойчивость и равновесие. Деятельность духа бесконечно превосходит пределы массы накопленных воспоминаний, как сама эта масса воспоминаний бесконечно превышает ощущения и движения настоящей минуты; но эти ощущения и эти движения обуславливают то, что можно было бы назвать вниманием к жизни, вот почему все зависит от их взаимосвязи в нормальной работе духа, как в пирамиде, которая стояла бы на своей вершине.

Посмотрим теперь на тонкую структуру нервной системы, выявленную недавними исследованиями. Всюду обнаружатся проводники, и мы нигде не увидим центров. Нити, расположенные окончание к окончанию, чьи крайние точки, без сомнения,

сближаются, когда проходит ток, – вот и все, что мы видим. И, может быть, больше ничего и нет, если тело – это и в самом деле только место встречи между полученными возбуждениями и выполненными движениями, как мы предполагали на всем протяжении настоящей работы. Но эти нити, воспринимающие от внешней среды колебания и возбуждения и отсылающие их ей в форме соответствующих реакций, эти нити, столь мудро натянутые от периферии к периферии, именно прочностью своих соединений и точностью своих перекрещиваний обеспечивают сенсомоторное равновесие тела, то есть его приспособление к наличной ситуации. Ослабьте это напряжение или нарушите это равновесие: все произойдет так, как будто внимание отвлекалось от жизни. Кажется, в таком ослаблении, собственно, и состоит состояние грезы и психической отрешенности, умопомрачения.

Только что речь у нас шла о выдвинутой недавно гипотезе, объясняющей сон нарушением тесной взаимосвязи между нейронами. Если даже не признавать этой гипотезы (хотя она подтверждается любопытными экспериментами), все же в глубоком сне надо предположить по крайней мере функциональное нарушение установившейся в нервной системе связи между возбуждением и двигательной реакцией. Так что сновидение всегда оказывается состоянием духа, при котором внимание не фиксируется сенсомоторным равновесием тела. И кажется все более и более вероятным, что эта расслабленность нервной системы зависит от интоксикации ее элементов остаточными продуктами нормальной

270* Внимание к жизни

деятельности в состоянии бодрствования. Однако сновидение во всех отношениях подобно помешательству. Не только все психологические симптомы помешательства обнаруживаются в состоянии сна – до такой степени, что сравнение этих двух состояний стало банальным, – но и своим источником помешательства, по всей видимости, равным образом имеет мозговое истечение, которое обусловлено, как и нормальная усталость, накоплением специфических ядов в нервной системе. Известно, что помешательство часто бывает также следствием инфекционных заболеваний и что, кроме того, можно вызвать все симптомы умственного расстройства посредством токсических веществ. Но разве не правдоподобно предположить, исходя из этого, что нарушение ментального равновесия в помешательстве зависит просто от пертурбации сенсомоторных связей, установившихся в организме? Этой пертурбации было бы достаточно, чтобы создать своего рода психическое головокружение и привести к тому, чтобы память и внимание потеряли контакт с действительностью. Прочитайте описание начала болезни, сделанные некоторыми душевнобольными: увидите, что они часто испытывают чувство странности или, как они говорят, "нереальности", как будто воспринимаемые вещи теряют для них рельеф и прочность. Если наш анализ верен, то конкретное чувство наличной реальности состоит в осознании нами движений, которыми наш организм естественно отвечает на возбуждения: поэтому тогда, когда связи между ощущениями и движениями ослабевают или искажаются, чувство реального слабеет или исчезает.

Конечно, нам нужно было бы провести множество различий, не только между разными формами помешательства, но и между настоящим помешательством и теми формами распада личности, которые современная психология таким любопытным образом с ним сблизила. В этих болезнях личности группы воспоминаний как будто отделяются от центральной памяти и лишаются своей взаимосвязи с другими воспоминаниями. С другой стороны, в этих случаях редко не наблюдается также сопутствующих рассогласований и расщеплений чувственного восприятия и моторных реакций. И ничто не может помешать нам увидеть в этих последних явлениях подлинный материальный субстрат первых. Если верно, что вся наша умственная жизнь целиком опирается на свою вершину, то есть на те сенсомоторные функции, посредством которых она включается в наличную реальность, умственное равновесие будет различным образом нарушено, в зависимости от различных видов нарушений этих функций. Наряду с нарушениями, захватывающими общую жизнеспособность функций, ослабляющими и уничтожающими то, что мы назвали чувством реального, есть и другие нарушения, которые выражаются уже не в динамическом, а в механическом уменьшении этих функций, – как будто некоторые сенсомоторные соединения

Эта идея была недавно развита несколькими авторами. Наиболее систематически она

изложена в работе Коулза: Couwles, The mechanism of insanity (American J. of Insanity, 1890

-91).

^ См. в особенности: Moreau de Tours, Du nachisch, Paris, 1845.

Ball, Leçons sur les maladies mentales, Paris, 1890 p.608 et suiv. – См. интересный анализ: Visions, a persotial narrative (Jornal of mental science, 1896 p.284). Pierre Janet, Les accidents mentaux, Paris, 1894, p. 292 et suiv.

Pierre Janet, L'automatisme psychologique, Paris, 1889, p. 95 et suiv.

Память и дух 271

просто-напросто отделяются друг от друга. Если наша гипотеза обоснованна, память в этих двух случаях будет затронута весьма по-разному. В первом случае ни одно воспоминание не исчезнет, но все воспоминания будут менее отягощены, менее основательно ориентированы на реальное, отчего и наступает настоящее нарушение ментального равновесия. Во втором случае это равновесие нарушено не будет, но оно потеряет свою полноту. Воспоминания сохраняют свой нормальный вид, но частично утратят свою взаимосвязь, так как их сенсомоторная основа, хотя и не будет, так сказать, химически изменена, но будет механически уменьшена. Как в том, так и в другом случае, впрочем, воспоминания не будут непосредственно затронуты или повреждены.

Предположение, что тело сохраняет воспоминания в форме особых церебральных предрасположенностей, что потери и уменьшения памяти состоят в более или менее полном разрушении этих механизмов, что экзальтация памяти и галлюцинации, наоборот, зависят от преувеличенного возбуждения активности этих механизмов, – не подтверждается, таким образом, ни рассуждениями, ни фактами. Есть, правда, один случай, и только один, где наблюдение сначала как будто вызывает такое предположение: мы имеем в виду афазию или вообще расстройство слухового и зрительного узнавания. Это единственный случай, где можно установить постоянное месторасположение заболевания в определенной извилине мозга, но это также и тот именно случай, где мы не присутствуем при механическом и, следовательно, сразу же безвозвратном уничтожении тех или иных воспоминаний, но наблюдаем скорее постепенное функциональное ослабление всей причастной к делу памяти. Мы объяснили, как церебральное повреждение могло бы обусловить это ослабление, и при этом совсем нет необходимости предполагать накопленного в мозгу запаса воспоминаний. На самом деле, здесь поражены сенсорные и моторные области мозга, соответствующие этому виду восприятия, а в особенности – дополнительные механизмы, позволяющие активизировать эти области изнутри, так что воспоминание, не находя уже, за что ему можно удержаться, в конце концов становится практически бессильным; в психологии же бессилие означает бессознательность. Во всех других случаях наблюдаемое или предполагаемое повреждение, никогда точно не локализованное, оказывает действие посредством пертурбации, вносимой ей в совокупность сенсо-моторных соединений, или видоизменяя эту массу, или дробя ее на фрагменты: отсюда нарушение или упрощение умственного равновесия, и – рикшетом – беспорядочность или разрозненность воспоминаний. Доктрина, делающая из памяти непосредственную функцию мозга, доктрина, поднимающая неразрешимые теоретические затруднения, доктрина, сложность которой превосходит всякое воображение, а выводы несовместимы с данными внутреннего наблюдения, не может, следовательно, рассчитывать и на поддержку со стороны патологии мозга. Все факты и все аналогии говорят в пользу теории, которая смотрит на мозг только как на посредника между ощущениями и движениями, принимает эту совокупность ощущений и движений за вершину, или граничное острое ментальной жизни – острое, непрерывно вписывающееся в ткань событий, и которая, приписывая телу единственную функцию

272Предназначение тела

настоящим, рассматривает саму память как нечто абсолютно независимое от материи. В этом смысле мозг содействует вызову полезного воспоминания, но еще больше – временному отстранению всех других воспоминаний. Мы не видим, каким образом память могла бы найти себе пристанище в материи, но мы хорошо понимаем – по глубокому выражению одного современного философа, – что "материальность вкладывает в нас забвение".

Ravaisson, La philosophie en France au XIX^e siècle, 3^e édition, p. 176.

Глава четвертая.

О разграничении и фиксации образов. – Восприятие и материя. – Душа и тело.

Из трех первых глав этой книги следует одно общее заключение: основной функцией тела, всегда направленного к действию, является ограничение, в целях действия, жизни духа. По отношению к представлениям оно – орудие выбора, и только выбора. Оно не может ни порождать, ни обуславливать ментального состояния. В соответствии с местом, которое оно в тот или иной момент занимает во вселенной, наше тело отмечает части и стороны материи, на которые мы могли бы воздействовать: наше восприятие, точно измеряющее наше возможное действие на вещи, ограничивается, таким образом, предметами, которые в настоящий момент влияют на наши органы и подготавливают наши движения. Роль тела состоит не в накоплении воспоминаний, но просто в выборе полезного воспоминания, – того, которое дополнит и прояснит данную ситуацию ввиду возможного в ней действия; это воспоминание отчетливо осознается благодаря той реальной силе, которую придает ему тело. Правда, этот второй выбор гораздо менее строг, чем первый, ибо наш прошлый опыт является опытом индивидуальным, а не общим, и у нас всегда есть множество различных воспоминаний, одинаково способных укладываться в рамки одной и той же наличной ситуации, так что природа не может применять здесь, как в случае восприятия, непреложное правило для разграничения наших представлений. На этот раз фантазии предоставлен некоторый простор, и если животные, – рабы материальных нужд, ею не пользуются, то ум человека, по-видимому, напротив, беспрерывно давит всем запасом своей памяти на дверь, которую ему приоткрывает тело: отсюда – игра фантазии и работа воображения, все эти вольности, которые позволяет себе дух по отношению к природе. И все же именно направленность сознания на действие составляет, очевидно, основной закон нашей психологической жизни.

В сущности мы могли бы на этом остановиться, ибо принялись за эту работу с целью определить роль тела в жизни духа. Но, с одной стороны, мы попутно затронули метафизическую проблему, которую не можем оставить неразрешенной, а с другой – наши исследования, хотя и чисто психологические, неоднократно указывали нам если не средство ее раз-

10 Зак. № 388

274Проблема дуализма

решения, то, по крайней мере, направление, в котором нужно двигаться.

Проблема эта – не что иное, как проблема связи души с телом. Она стоит перед нами в обостренной форме, так как мы проводим глубокое различие между материей и

духом. И мы не можем признать ее неразрешимой, так как определяем дух и материю через их положительные свойства, а не отрицания. Чистое восприятие действительно поместило бы нас в материю, а с памятью мы на самом деле уже проникаем в дух. С другой стороны, то же психологическое наблюдение, которое открыло нам различие между материей и духом, делает нас свидетелями их соединения. Значит, либо наш анализ изначально ложен, либо он должен помочь нам преодолеть вызванные им же затруднения.

Во всех учениях неясность этой проблемы связана с двойной антитезой, усвоенной нашим рассудком, между протяженным и непротяженным, с одной стороны, количеством и качеством – с другой. Несомненно, что дух прежде всего противопоставляет материи, как чистое единство – делимой множественности; более того, наши восприятия складываются из разнородных качеств, тогда как воспринятая вселенная включает в себя, по-видимому, однородные и исчислимые изменения. С одной стороны оказываются, таким образом, непротяженность и качество, а с другой – протяженность и количество.

Мы отвергли материализм с его претензией вывести первый элемент из второго, но мы не можем принять и идеализм, стремящийся, чтобы вторая пара была простой производной от первой. Вопреки материализму мы утверждаем, что восприятие бесконечно превосходит рамки церебрального состояния; но мы пытались установить, вопреки идеализму, что и материя повсюду выходит за пределы нашего представления о ней, представления, которое дух, так сказать, умело отобрал среди других. Одно из этих двух противоположных учений приписывает дар истинного творчества телу, другое – духу; согласно первому, наш мозг порождает представление, согласно второму – наш разум чертит план природы. В опровержение обоих этих учений мы и привлекаем одно и то же свидетельство – свидетельство сознания, показывающего нам, что наше тело есть образ, подобный другим образам, и что в нашем разуме есть некая способность разъединять, различать и логически противопоставлять, но не творить или строить. Так, оставаясь добровольными пленниками психологического анализа и, следовательно, здравого смысла, обострив противоречия, созданные вульгарным дуализмом, мы загородили все выходы, которые могла открыть нам метафизика.

Но именно потому, что мы довели дуализм до крайней степени, наш анализ, быть может, разъединил его противоречивые элементы. А если это так, то теория чистого восприятия и теория чистой памяти с разных сторон прокладывают путь к сближению между непротяженным и протяженным, между качеством и количеством. Рассматривая мозговое состояние как начало действия, а вовсе не как условие восприятия, мы поставили воспринятые образы вещей вне образа нашего тела, а следовательно, переместили восприятие в сами вещи. Но если наше восприятие составляет часть вещей, то вещи причастны природе нашего восприятия. Материальная протяженность уже перестает и не может быть той множественной протяженностью, о которой говорит геометрия, –

Сознание и материальность. 275

она подобна скорее неразрывной экстенсивности нашего представления. Это значит, что анализ чистого восприятия позволил нам угадать в идее экстенсивности возможное сближение между протяженным и непротяженным.

Но наша концепция чистой памяти должна была бы параллельно вести к смягчению второй оппозиции – противопоставлению качества и количества. В самом деле, мы в корне отделили чистое воспоминание от мозгового состояния, которое продолжает его и придает ему силу. Память, стало быть, ни в коей мере не может быть эманацией материи; напротив, материя – какой мы постигаем ее в конкретном восприятии, всегда имеющем известную длительность, – большей частью происходит из памяти. В чем же, собственно, различие между разнородными качествами, которые следуют друг за другом в нашем конкретном восприятии, и однородными изменениями, которые наука помещает позади этих восприятий, в пространстве? Первые прерывны и не выводимы одни из других; вторые, наоборот, поддаются вычислению. Но для этого вовсе не нужно делать из них чистые количества: это было бы равносильно сведению

их к ничто. Достаточно, чтобы разнородность была, так сказать, ослаблена и стала, с нашей точки зрения, величиной, которой практически можно пренебречь. Но если каждое конкретное восприятие, каким бы кратким мы его ни считали, представляет собой уже осуществленный памятью синтез бесконечного числа последовательных "чистых восприятий", не следует ли думать, что разнородность чувственных качеств зависит от их сжатия в нашей памяти, тогда как относительная однородность объективных изменений связана с их естественной разреженностью? Но нельзя ли, приняв в расчет напряжение, сблизить между собою количество и качество, подобно тому, как мы сблизили протяженное и непротяженное, приняв во внимание экстенсивность?

Прежде, чем вступить на этот путь, сформулируем общий принцип метода, который мы хотели бы применить. Мы уже пользовались им в предыдущей работе, а в неявном виде применяли его и здесь.

То, что обычно называют фактом, – это не реальность в том виде, в каком она предстала бы перед непосредственной интуицией, но результат приспособления реального к интересам практики и к требованиям общественной жизни. Чистая интуиция, внешняя или внутренняя, постигает нераздельную непрерывность. Мы дробим ее на рядопо-ложенные элементы, которые соответствуют то отдельным словам, то независимым предметам. Но именно потому, что мы разорвали первоначальное единство нашей интуиции, мы и чувствуем потребность установить между разобщенными элементами связь, которая может быть теперь лишь внешней и привнесенной. Живое единство, которое рождается из внутренней непрерывности, мы заменяем искусственным единством пустой рамки, такой же косной, как те элементы, которые она соединяет. Эмпиризм и догматизм оба, в сущности, исходят из воссозданных таким образом явлений, с той разницей, что догматизм больше придерживается формы, тогда как эмпиризм – содержания. Эмпиризм, смутно чувствуя искусственность отношений, объединяющих элементы, останавливается на элементах, отбрасывая отношения. Его ошибка не в том, что он слишком высоко ценит опыт, но, напротив, в

276 Руководящий метод

том, что он заменяет истинный опыт, возникающий из непосредственного соприкосновения духа с его объектом, на опыт перекроенный, а значит, лишенный естественной формы, во всяком случае измененный для удобства действия и языка. Именно потому, что это дробление реальности на части было связано с требованиями практической жизни, оно не следовало внутренним линиям строения вещей: поэтому эмпиризм не может дать удовлетворительный ответ ни по одному из великих вопросов, и, полностью осознавая свой исходный принцип, он даже воздерживается от их постановки. – Догматизм же обнаруживает и проясняет трудности, на которые эмпиризм закрывает глаза, но сам, в сущности, ищет решения на том же пути, намеченном эмпиризмом. Он также берет те отдельные, прерывистые явления, которыми довольствуется эмпиризм, и просто старается осуществить их синтез, который, не будучи дан в интуиции, неизбежно всегда будет иметь произвольную форму. Другими словами, если метафизика есть не что иное, как конструкция, то существует много метафизик – одинаково вероятных и, следовательно, друг друга опровергающих, и последнее слово остается за критической философией, которая считает всякое познание относительным и сущность вещей – непознаваемой. Таков и был в самом деле обычный ход философской мысли: мы исходим из того, что считаем опытом, мы пробуем различные возможные комбинации между фрагментами, из которых он, по-видимому, состоит, и, сознавая шаткость всех наших построений, в конце концов отказываемся строить. – Но следовало бы сделать последнюю попытку. Нужно было бы взять опыт в его истоках или, скорее, выше того решающего поворота, где, отклоняясь в направлении нашей пользы, он становится чисточеловеческим опытом. Бессилие спекулятивного разума, доказанное Кантом, состоит, быть может, по сути дела в бессилии интеллекта, подчиненного определенным потребностям телесной жизни и примененного к материи, которую надо было дезорганизовать для удовлетворения наших нужд. В этом случае наше познание вещей соответствует уже не основному строю нашего духа, но лишь его поверхностным и приобретенным привычкам, внешней ему форме, заимствованной у наших телесных функций и низших потребностей. Относительность познания поэтому нельзя считать окончательно доказанной. Разрушая то, что создали эти потребности, мы восстановили бы

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
интуицию в ее первозданной чистоте и вновь соприкоснулись бы с реальностью.

Применение этого метода сопряжено со значительными и постоянно возобновляющимися трудностями, так как он требует для решения каждой новой проблемы совершенно нового усилия. Отказываться от определенных привычек мысли и даже восприятия уже болезненно, но это лишь отрицательная часть работы: когда она проделана, когда мы расположимся уповоротаопыта, когда воспользуемся зарождающимся проблемском, который освещает переход отнепосредственнополезному, озаряя начало нашего человеческого опыта, остается еще восстановить из бесконечно малых элементов открывшейся нам реальной линии форму самой этой линии, лежащей за ними во мраке. В этом смысле задача философа, как мы ее понимаем, очень похожа на задачу математика, определяющего функцию, исходя из дифференциала. По-

Сознание и материальность 277

следний шаг философского исследования – это настоящая работа интегрирования.

Мы пробовали уже ранее применить этот метод к проблеме сознания и обнаружили, что утилитарная работа духа, в том, что касается восприятия нашей внутренней жизни, состоит в своего рода преломлении чистой длительности в пространстве, преломлении, позволяющем нам разделять наши психологические состояния, приводить их ко все более безличной форме, давать им названия, наконец, вводить их в течение общественной жизни. Эмпиризм и догматизм берут внутренние состояния в этой прерывистой форме, причем первый, обращая внимание на сами эти состояния, видит в ялишь последовательность рядоположен-ных фактов, а второй, понимая необходимость связи, может найти ее только в форме или в силе – в форме внешней, охватывающей извне этот агрегат состояний, и в силе неопределенной и, так сказать, физической, обеспечивающей сцепление элементов. Отсюда две противоположные точки зрения на проблему свободы: для сторонников детерминизма свободный акт есть равнодействующая механического соединения элементов; для его противников, если бы они строго придерживались своего принципа, свободное решение должно бы было быть неким произвольным fiat, настоящим творением ex nihilo. – Мы думаем, что возможна и третья точка зрения. Она состоит в том, чтобы вновь переместиться в чистую длительность, течение которой беспрерывно и где незаметно переходишь от одного состояния к другому: ту непрерывность, которая реально переживается, но искусственно расчленяется для наибольшего удобства обыденного познания. Тогда нам представляется, что действие вытекает из своих предпосылок путем эволюции sui generis, так что в этом действии обнаруживаются объясняющие его предпосылки, но оно все же прибавляет нечто абсолютно новое, развиваясь из них, как плод из цветка. Свобода нисколько не сводится тем самым, как утверждали, к чувственной самопроизвольности. Это можно сказать, самое большее, о животном, у которого психологическая жизнь по преимуществу аффективна. Но у человека, существа мыслящего, свободный акт можно назвать синтезом чувств и идей, а ведущую к нему эволюцию – разумной эволюцией. Этот метод в целом состоит просто в отличении точки зрения обыденного, или утилитарного познания от точки зрения истинного познания. Та длительность, в которой мы видим себя действующими где нам полезно, чтобы мы себя видели, – это длительность, элементы которой разъединяются и рядопологаются; но та длительность, в которой мы действуем, – это длительность, где наши состояния сливаются друг с другом, и именно туда мы должны стремиться мысленно перенестись в том исключительном и единственном случае, когда мы размышляем о глубокой природе действия, то есть в теории свободы.

Применим ли подобный метод к проблеме материи? Вопрос состоит в том, можно ли в этой "разнородности явлений*", о которой говорил Кант, уловить неопределенную массу, с тенденцией к расширению, по сю сторону однородного пространства, к которому она приложена и с помощью которого мы ее делим на части, – подобно тому, как наша внутренняя жизнь может быть отделена от бесконечного и пустого времени, чтобы стать чистой длительностью. Конечно, попытка освобо-

278Руководящий метод

даться от основных условий внешнего восприятия была бы иллюзорной. Но вопрос в том, не относятся ли некоторые условия, обыкновенно принимаемые нами за основные, скорее к использованию вещей, к практическому их употреблению, чем к чистому знанию, которое мы можем о них иметь. В частности, если речь идет о конкретной протяженности, непрерывной, разнообразной и в то же время организованной, можно оспаривать мнение о ее единстве с аморфным и косным пространством, которое под него подведено, пространством, которое мы бесконечно разделяем, произвольно вырезая в нем фигуры, и где само движение, как мы отмечали это в другом месте, может казаться только множественностью мгновенных положений, ибо ничто не может обеспечить связь прошлого с настоящим. Значит, можно было бы в известной мере освободиться от пространства, не выходя из протяженности, и это был бы возврат к непосредственному, потому что в действительности мы воспринимаем протяженность, тогда как пространство только представляем себе наподобие схемы. Быть может, этот метод будет критиковать за то, что он произвольно приписывает исключительное значение непосредственному познанию. Но какие у нас вообще есть основания сомневаться в каком-либо знании? Нам и в голову не пришло бы сомневаться, если бы не трудности и противоречия, на которые указывает размышление, не проблемы, которые ставит философия. Возможно, непосредственное познание нашло бы свое оправдание и обоснование, если бы можно было доказать, что эти трудности, эти противоречия, эти проблемы порождаются главным образом покрывающим непосредственное познание символическим рисунком, который стал для нас самой реальностью и пробить толщу которого можно только напряженным усилием? Выберем теперь среди результатов, которых можно достичь с помощью этого метода, те, которые относятся к нашему исследованию. Мы ограничимся, однако же, лишь отдельными указаниями, поскольку здесь не может быть и речи о построении теории материи.

I. – Всякое движение, поскольку оно есть переход от покоя к покою, абсолютно неделимо.

Здесь речь идет не о гипотезе, а о факте, который обычно скрывается за гипотезой.

Вот, например, моя рука, покоящаяся в точке А. Я переносу ее в точку В, одним взмахом преодолевая интервал АВ. В этом движении одновременно сочетаются образ, который я вижу, и акт, улавливаемый моим мышечным сознанием. Сознание дает мне внутреннее ощущение простого факта, ибо в А был покой, в В – тоже покой, а между А и В вмещается неделимое иди, по крайней мере, неразделенное действие, переход от покоя к покою, являющийся самим движением. Но зрение мое воспринимает движение в виде пробегаемой линии АВ, и линия эта, как всякое пространство, бесконечно делима. На первый взгляд кажется, что я произвольно могу считать это движение множественным или неделимым, в зависимости от того, рассматриваю ли я его в пространстве или во времени, как образ, возникающий вне меня, или как акт, который совершаю я сам.

Однако, отстраняя какую бы то ни было предвзятую идею, я очень скоро убеждаюсь, что у меня нет выбора, что мое зрение воспринимает

Сознание и материальность 279

движение от А к В как неделимое целое, и если что либо и разделяет, то линию, по которой происходит движение, но не само это движение. Действительно, моя рука движется от А к В, неизбежно проходя через промежуточные пункты, похожие на этапы (число которых может быть как угодно велико), расположенные вдоль всего пути, но между обозначенными таким образом отрезками и настоящими этапами существует фундаментальное различие, состоящее в том, что на этапе предполагается остановка, здесь же движущееся тело проходит дальше. Но ведь переход – это движение, а остановка – неподвижность. Остановка прерывает движение, переход же составляет с ним одно целое. Когда я вижу, как движущееся тело проходит через какую-либо точку, я, конечно, понимаю, что оно могло бы там остановиться; и даже если оно там не останавливается, я склонен рассматривать

его переход как бесконечно малый покой, поскольку мне нужно время, чтобы об этом подумать, но здесь задерживается только мое воображение, роль же движущегося тела, напротив, состоит в том, чтобы двигаться. Поскольку любая точка пространства неизбежно кажется мне фиксированной, мне трудно не приписать самому движущемуся телу неподвижность точки, с которой оно для меня на мгновение совпадает. Тогда, мне кажется, при воссоздании движения в целом, что движущееся тело останавливалось на бесконечно малое время в каждой точке своей траектории. Но не следует смешивать данные чувств, воспринимающих движение, с искусственными приемами ума, который его воспроизводит. Чувства, предоставленные самим себе, показывают нам реальное движение между двумя реальными остановками как нечто целое и нераздельное. Разделение же представляет собой продукт воображения, функция которого состоит именно в том, чтобы фиксировать подвижные образы нашего обычного опыта, как мгновенная вспышка молнии освещает ночью сцену бури.

Здесь мы осознаем, в самой ее основе, иллюзию, сопровождающую и накладывающуюся на восприятие реального движения. Движение, очевидно, состоит в переходе из одной точки в другую, а следовательно, в прохождении пространства. Но так как пройденное пространство делимо до бесконечности, а движение как бы прилегает к линии, которую оно пробегает, то оно кажется единым с этой линией и делимым, как она. Разве не оно прочертило ее? Не проходило ли оно поочередно последовательный ряд ее точек? Да, несомненно, но точки эти реальны только в прочерченной линии, то есть линии неподвижной; и одним тем, что вы представляете себе движение поочередно в этих разных точках, вы его неизбежно тем самым останавливаете; ваши последовательные положения – это, в сущности, лишь воображаемые остановки. Вы представляете траекторию вместо пути, и так как под путь подводится траектория, вам кажется, что он с ней совпадает. Но как может процесс совпадать с вещью, движение с неподвижностью?

Иллюзии здесь способствует еще и то, что мы различаем моменты в течении длительности как положения на пути движущегося тела. Даже если предположить, что движение от одной точки до другой составляет нераздельное целое, то движение это все же занимает определенное время, и стоит только отделить от этой длительности одно неделимое мгновение, как движущееся тело займет в этот точный момент опреде-

280 Восприятие и материя

ленное положение, которое обособится таким образом от всех остальных. Неделимость движения предполагает, стало быть, невозможность мгновения, и очень сжатый анализ идеи длительности сразу сможет показать нам, и почему мы приписываем длительности мгновения, и почему в ней не может быть этих мгновений. Возьмем простое движение, к примеру, путь, который проходит моя рука, перемещаясь из А в В. Путь этот дан моему сознанию как нераздельное целое. Он, конечно, обладает длительностью, но длительность его, совпадающая с его внутренним образом в моем сознании, сжата и нераздельна, как он сам. Однако, представляясь, в качестве движения, в виде простого факта, он описывает в пространстве траекторию, которую я могу упрощенно рассматривать как геометрическую линию: концы этой линии как абстрактные границы являются уже не линиями, но неделимыми точками. Но если линия, которую прочертило движущееся тело, измеряет для меня длительность его движения, то почему же точка, где кончается эта линия, не могла бы символизировать конец этой длительности? И если эта точка есть неделимый элемент длины, то отчего бы не закончить длительность пути неделимым элементом длительности? Поскольку линия в целом представляет всю длительность, то части этой линии должны соответствовать, казалось бы, частям длительности, а точки линии – моментам времени. Неделимые элементы длительности, или моменты времени, порождаются, следовательно, потребностью в симметрии, к ним приходят естественным образом, как только от пространства требуют цельного представления длительности. Но в этом – то и состоит заблуждение. Если линия АВ символизирует протекающую длительность движения от А до В, то, будучи неподвижной, она отнюдь не может представлять движение совершающееся, длительность, и из того, что линия эта делима на части, что она заканчивается точками, не следует заключать, что соответствующая длительность состоит из отдельных частей, или что она ограничена мгновениями.

Аргументы Зенона Элейского вытекают только из этой иллюзии. Суть их – в том, чтобы заставить время и движение совпасть с линией, которая под них подведена, таким же образом разделить их, то есть обращаться с ними, как с этой линией. В этом смешении Зенон поощрял здравый смысл, который обычно переносит на движение свойства его траектории, а также и язык, всегда выражающий движение и его длительность в терминах пространства. Но здравый смысл и язык имеют на это право и даже, так сказать, выполняют свой долг, ибо, рассматривая становление как вещь, годную для использования, они могут не заботиться о внутренней организации движения, как рабочему нечего думать о молекулярном строении его инструментов. Полагая, что движение делимо, как его траектория, здравый смысл просто отражает два факта, единственно значимые для практической жизни: 1. Что всякое движение описывает некоторое пространство; 2. Что в любой точке этого пространства движущееся тело могло бы остановиться. Но философ, размышляя о внутренней природе движения, должен вернуть ему подвижность, составляющую его сущность, а этого – то и не делает Зенон. Согласно первому аргументу ("Дихотомия"), предполагается, что движущееся тело находится в покое, чтобы затем рассматривать лишь бесконечное число этапов на линии, которую оно должно пройти: вы

Сознание и материальность 281

тщетно будете искать, говорят нам, как ему удалось бы преодолеть этот интервал. Но этим просто доказывается, что невозможно а priori построить движение из неподвижных элементов, в чем никто никогда и не сомневался. Здесь подлежит выяснению только один вопрос: раз движение дано как факт, нет ли, так сказать, ретроспективной нелепости в том, что им пройдено бесконечное число точек. Но мы не видим в этом совершенно ничего неестественного, так как это нераздельный факт или ряд нераздельных фактов, между тем как траектория бесконечно делима. Во втором аргументе ("Ахиллес") соглашаются допустить движение, его даже приписывают двум движущимся телам, но все по тому же заблуждению желают, чтобы движения эти совпадали с их траекториями и были, как и они, подвластны произвольному делению. Тогда, вместо того, чтоб признать, что черепаха идет черепашим шагом, а Ахиллес – шагами Ахиллеса, так что после определенного числа этих неделимых действий или скачков Ахиллес перегонит черепаху, считают себя в праве как угодно расчленивать и движение Ахиллеса, и движение черепахи и забавляются, таким образом, реконструкцией этих двух движений по произвольному правилу образования, несовместимому с основными условиями подвижности. Тот же софизм становится еще очевиднее в третьем аргументе ("Стрела"). Из того, что можно определять точки на траектории метательного снаряда, заключают, что с полным правом можно различать нераздельные моменты в длительности пути. Но из всех аргументов Зенона, быть может, наиболее поучителен четвертый ("Ристалище"), которым совершенно несправедливо, по нашему мнению, пренебрегали: нелепость его тем очевиднее, что в нем с полной откровенностью выставлен постулат, замаскированный в трех других.

Не вдаваясь в спор, которому здесь не место, просто констатируем, что непосредственно воспринятое движение – это очень ясный факт и что трудности или противоречия, указанные Элейской школой, гораздо больше касаются не самого движения, а искусственного и нежизнеспособного воспроизведения движения с помощью разума. Сделаем вывод из всего предшествующего:

II. –Существуют реальные движения.

Математик, точнее выражая идею здравого смысла, определяет положение расстоянием от отправных точек или осей, а движение – изменением расстояния. В движении, таким образом, он имеет дело только с изменениями длины, а так как абсолютные значения изменяющегося расстояния, к примеру, между какой-либо точкой и осью, одинаково выражают как перемещение оси по отношению к точке, так

I. Напомним вкратце этот аргумент. Дано движущееся тело, которое перемещается с известной скоростью и одновременно проходит перед двумя телами, одно из которых

неподвижно, а другое движется ему навстречу с той же, что и оно само, скоростью. За то время, пока это движущееся тело проходит определенную часть длины первого тела, оно, естественно, пройдет вдвое большую часть длины второго тела, движущегося навстречу. Отсюда Зенон делает вывод, что "длительность оказывается вдвое больше самой себя". – Говорят, что это рассуждение наивно, потому что Зенон не принимает во внимание, что скорость в одном случае вдвое больше, чем в другом. Пусть так, но каким образом, позвольте, смог бы он это заметить? То, что движущееся тело проходит за одно и то же время две различные длины двух тел, одно из которых находится в покое, а другое – в движении, ясно для того, кто делает из длительности своего рода абсолют и помещает ее

282 Восприятие и материя

и перемещение точки по отношению к оси, он будет приписывать одной и той же точке или покой, или подвижность. Стало быть* если движение сводится к изменению расстояния, то один и тот же предмет становится подвижным или неподвижным, в зависимости от точки, с которой его соотносят, и абсолютного движения не существует.

Но вещи принимают уже иной вид, когда от математики мы переходим к физике, а от абстрактного изучения движения – к анализу конкретных изменений, происходящих во вселенной. Хотя мы можем произвольно приписывать покой или движение каждой материальной точке, взятой в отдельности, тем не менее облик материальной вселенной на самом деле изменяется, как и внутренние очертания всякой реальной системы, и тут у нас уже нет выбора между покоем и подвижностью: какова бы ни была его глубинная причина, движение становится неоспоримой реальностью. Допустим, что нельзя сказать, какие именно части целого движутся, – от этого в целом меньше движения не становится. Поэтому не стоит удивляться, что те же мыслители, которые рассматривают всякое частное движение как относительное, говорят о движении в целом как об абсолютном. Это противоречие было обнаружено у Декарта, который, придав положению об относительности самую радикальную форму и утверждая, что всякое движение "обоюдно", формулирует законы движения так, как если бы движение было абсолютным. Лейбниц, а за ним и другие указывали на это противоречие: оно связано просто с тем, что Декарт говорит о движении как физик, хотя определил его вначале как геометр. Для геометра всякое движение относительно: это означает, в нашем определении, всего лишь, что нет математического символа, способного выразить, что движется именно движущееся тело, а не оси или точки, с которыми его соотносят. И это понятно, ибо символы, предназначенные всегда только для измерений, могут выражать только расстояния. Но никто не будет всерьез оспаривать тот факт, что существует реальное движение: в противном случае во вселенной ничего бы не изменялось и было бы совершенно непонятно, что означает осознание наших собственных движений. В своем споре с Декартом Генри Мор шутливо намекал на этот последний пункт: "Когда я сижу спокойно, а другой, удаляясь на

или в сознание, или в нечто, причастное сознанию. Действительно, по истечении определенной порции этой причастной сознанию, или абсолютной длительности, движущееся тело пройдет, двигаясь вдоль первого и второго тела, два пространства, одно из которых, вдвое больше другого, но из этого нельзя будет заключить, что длительность оказывается вдвое больше самой себя, поскольку длительность остается чем-то, что не зависит ни от одного, ни от другого пространства. Однако ошибка всей аргументации Зенона как раз и сокрыта в том, что он оставляет в стороне подлинную длительность, рассматривая только ее объективированный след в пространстве. Ну, а в таком случае, почему два пути, проделанные одним движущимся телом, не могут быть одинаково рассмотрены как меры длительности? И почему бы им не представлять одну и ту же длительность, даже если один из них вдвое больше другого? Делая вывод отсюда, что длительность оказывается "вдвое больше самой себя", Зенон следовал логике своей гипотезы, и четвертый его аргумент равноценен трем прочим.

Descartes, Principes II, 29.

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
Descartes, Principes, 11-e partie, 37 et suiv. .

Leibniz, Spécimen dynamicum (Matern. Schriften, Gerhardt, 2-e section, 2-e vol., p. 246)

Сознание и материальность 283

тысячу шагов, становится красным от усталости, конечно же, движется он, а я покоюсь".

Но если существует абсолютное движение, то можно ли по-прежнему видеть в движении только изменение места? Тогда следует превратить разнообразие мест в абсолютное различие и выделять абсолютные положения в абсолютном пространстве. До этого доходил Ньютон, а вслед за ним Эйлери другие. Но можно ли это представить себе или хотя бы понять? Одно место абсолютно отличалось бы от другого только своим качеством или своим отношением ко всему пространству, так что согласно этой гипотезе, пространство оказалось бы или составленным из разнородных частей, или конечным. Но конечному пространству мы придали бы другое, ограничивающее его пространство, а под разнородным пространством мысленно поместили бы поддерживающее его однородное пространство: в обоих случаях мы неизбежно вернулись бы к однородному и беспредельному пространству. Таким образом, мы не можем не считать любое место относительным и, вместе с тем, не можем не верить в существование абсолютного движения.

Можно ли сказать в таком случае, что реальное движение отличается от движения относительного тем, что оно имеет реальную причину, обусловлено какой-либо силой? Но следовало бы тогда условиться о значении этого последнего слова. В науках о природе сила есть лишь функция массы и скорости: она изменяется в зависимости от ускорения, ее знают, ее вычисляют только по движениям, которые, как предполагается, она производит в пространстве. Поскольку она едина с этими движениями, то на нее распространяется и их относительность. И физики, которые ищут принцип абсолютного движения в определяемой таким образом силе, самой логикой своей системы подводят к той гипотезе абсолютного пространства, которой вначале хотели избежать. Значит, нужно обратиться к метафизическому смыслу слова "сила" и обосновать движение, воспринимаемое в пространстве, глубинными причинами, аналогичными тем, которые наше сознание полагает постижимыми в чувстве усилия. Но действительно ли чувство усилия представляет собой чувство какой-то глубинной причины? И разве не было доказано решающим образом, что это чувство есть не что иное, как осознание движений, уже совершенных или начинающихся на периферии тела? Таким образом, мы тщетно пытались бы обосновать реальность движения отличной от него причиной: анализ неизменно возвращает нас к самому движению.

Но зачем же искать где-то еще? До тех пор, пока вы сохраняете в качестве опоры движения проходимую им линию, одна и та же точка поочередно кажется вам, в зависимости от того, к чему вы ее относите, находящейся то в покое, то в движении. Но этого не будет, если вы выделите из движения подвижность, составляющую его сущность. Когда мои глаза дают мне ощущение движения, это ощущение представляет собой реальность, и что-то действительно происходит – либо предмет перемещается на моих глазах, либо мои глаза совершают движение ι

H. Morus, Scripta philosophica, 1679, t. II, p. 248. Newton, Principia (éd. Thomson, 1871, p. 6 et suiv.). Euler, T/ieona niotus corporum solidorum, 1765, p. 30–33. В частности, Ньютон.

284 Восприятие и материя

перед предметом. Тем более я уверен в реальности движения тогда, когда произвожу его по своей воле и осознаю, благодаря мышечному ощущению. Это значит, что я

касаюсь реальности движения, когда оно обнаруживается внутри меня как изменение состояния или качества. Но как же тогда дело может обстоять иначе в том случае, когда я воспринимаю изменения качеств в вещах? Звук абсолютно отличается от тишины, как и один звук от другого. Между светом и мраком, между цветами, между оттенками – различие абсолютно. Переход от одного из них к другому также есть абсолютно реальное явление. Я держу, таким образом, оба конца цепи – мышечные ощущения во мне и чувственные качества материи вне меня, но ни в том, ни в другом случае я не воспринимаю движение – если оно имеет место – как простое отношение: и в том, и в другом случае – это нечто безусловно существующее. Между этими двумя крайностями находятся движения внешних тел в собственном смысле слова. Как различить здесь мнимое и реальное движение? О каком предмете, воспринятом вовне, можно сказать, что он движется? О каком – что он остается неподвижным? Задать такой вопрос – значит признать, что прерывность, установленная здравым смыслом между независимыми друг от друга предметами, именными, подобно личностям, свою собственную индивидуальность, есть обоснованное различие. В противоположной же гипотезе речь шла бы уже не о том, чтобы узнать, как меняются положения в определенных частях материи, но о том, как происходит изменение облика целого – изменение, природу которого нужно было бы еще, впрочем, определить. Сформулируем теперь наше третье положение:

III. – Всякое деление материи на независимые тела с абсолютно определенными контурами есть деление искусственное.

Тело, то есть независимый материальный предмет, представляется нам прежде всего как система качеств, где плотность и цвет – данные зрения и осязания – занимают центральное положение и как бы поддерживают все остальные качества. С другой стороны, именно данные зрения и осязания наиболее явно обладают протяженностью в пространстве, а существенным признаком пространства является непрерывность. Бывают интервалы тишины между звуками, поскольку наш слух не всегда занят, пропуски между запахами и вкусовыми ощущениями, как будто обоняние и вкус функционируют лишь от случая к случаю: напротив, как только мы открываем глаза, все наше поле зрения оказывается полностью окрашенным, поскольку же твердые тела по необходимости смежны друг с другом, наше осязание не может не следовать по поверхности или краям предметов, никогда не встречая настоящего разрыва. Как же мы раскалываем первоначально воспринятую непрерывность материального протяжения на отдельные тела, каждое из которых имеет собственную субстанцию и индивидуальность? Конечно, эта непрерывность каждое мгновение изменяет в целом свой вид, но почему мы не констатируем просто, что целое изменилось, как при повороте калейдоскопа? Почему, наконец, мы ищем в изменчивости целого трассы прохождения движущихся тел? Нам дана подвижная непрерывность, где все одновременно и изменяется, и пребывает. Почему же мы разделяем два этих элемента, непрерывность и изменение, и представляем непрерывность в виде тел, а изменение – в

Сознание и материальность 285

виде однородных движений в пространстве? Это не данное непосредственной интуиции, но это тем более и не требование науки, ибо наука, напротив, стремится вновь найти естественные точки соединения вселенной, которую мы искусственно расчленили. Более того, все лучше и лучше доказывая взаимодействие всех материальных точек, наука, вопреки видимости, возвращается, как мы увидим, к идее универсально-го континуума. Наука и сознание в основе своей согласуются между собой, если рассматривать сознание в его наиболее непосредственных данных, а науку в ее самых отдаленных устремлениях. Откуда же возникает непреодолимое стремление построить прерывистую материальную вселенную, с четко очерченными телами, которые меняют место, то есть взаимные отношения?

Наряду с сознанием и с наукой существует жизнь. Под принципами теоретического рассуждения, столь тщательно проанализированными философами, кроются тенденции, изучением которых пренебрегали, а они объясняются просто тем, что нам необходимо жить, то есть фактически действовать. Присущая индивидуальным сознаниям способность проявляться в отдельных действиях уже требует образования отдельных материальных зон, которые соответствовали бы живым телам: в этом смысле мое

собственное тело и, по аналогии с ним, другие живые тела суть то, что я лучше всего различаю в непрерывности вселенной. Но раз это тело конституировано и выделено, испытываемые им потребности ведут его к выделению и конституированию других тел. У простейшего из живых существ питание требует поиска, затем соприкосновения, наконец, ряда усилий, направленных к одному центру: именно этот центр и станет независимым предметом, который должен служить пищей. Какова бы ни была природа материи, можно сказать, что жизнь сразу установит в ней первую прерывность, выражающую двойственность потребности и того, что должно служить для ее удовлетворения. Но потребность в питании – не единственная потребность. Вокруг нее организуются другие потребности, имеющие целью сохранение индивида или вида, и каждая из них приводит нас к различению, наряду с нашим собственным телом, тел, независимых от него, к которым мы должны стремиться или которых должны избегать. Наши потребности – это, таким образом, пучок света, направленный на непрерывность чувственных качеств и очерчивающий там отдельные тела. Потребности наши могут быть удовлетворены, лишь если мы вырежем в этой непрерывности наше тело, а затем отделим от него другие тела, с которыми наше тело вступит в отношения, как с личностями. Установление этих совершенно особых отношений между частями, вырезанными таким образом в чувственной реальности, и есть то, что мы называем жизнью.

Но если это первое расчленение реального гораздо менее соответствует непосредственной интуиции, чем основным потребностям жизни, можем ли мы более близко познать вещи, проводя разделение еще дальше? Этим продолжают жизненное движение, отворачиваясь от истинного познания. Вот почему грубый прием, состоящий в разложении тела на однородные с ним части, заводит нас в тупик, потому что мы вскоре чувствуем, что не способны понять, ни того, почему это деление должно остановиться, ни того, как она могла бы продолжаться беско-

286 восприятие и материя

нечно. Он представляет собой на самом деле обычную форму полезного действия, необоснованно перенесенную в область чистого познания. Никогда, следовательно, не удастся объяснить с помощью частиц, каковы бы они ни были, простых свойств материи: можно лишь проследить вплоть до этих частиц, искусственных, как и само тело, действия и реакции этого тела относительно всех других тел*. Именно такова цель химии. Она изучает не столько материю, сколько тела, и понятно, что она останавливается на атоме, обладающем всеми общими свойствами материи. Но материальность атома все более и более рассеивается под взглядом физика. У нас нет никаких оснований, например, представлять себе атом в твердом, в жидком или газообразном состоянии, или изображать взаимодействие атомов скорее как столкновение, чем как любое другое действие. Почему же мы представляем твердый атом и думаем о столкновениях? Потому что именно твердые тела, на которые мы легче всего можем воздействовать, – это то, что больше всего интересует нас в наших отношениях с внешним миром, а также потому, что контакт – это, по-видимому, единственное средство, которым мы располагаем, чтоб воздействовать нашим телом на другие тела. Но всяма простые опыты доказывают, что реального соприкосновения между двумя столкнувшимися телами никогда не бывает, а с другой стороны, твердость отнюдь не является абсолютно определенным состоянием материи. Следовательно, твердость и столкновение обязаны своей видимой ясностью привычкам и потребностям практической жизни. Такого рода образы не проливают никакого света на сущность вещей.

К тому же, если и есть истина, которую наука поставила вне всякого сомнения, то это именно взаимодействие всех частей материи. Между воображаемыми молекулами тел действуют силы притяжения и отталкивания. Влияние тяготения распространяется через межпланетное пространство. Значит, и между атомами что-то существует. Можно сказать, что это уже не материя, а сила. Можно представить себе нити, натянутые между атомами, их можно сделать тонкими, невидимыми и даже, как полагают, не материальными. Но чему может служить этот грубый образ? Сохранение жизни, конечно, требует, чтобы мы различали в нашем повседневном опыте инертные вещи и действующие, производимые этими вещами в производимые этими вещами в пространстве. Поскольку нам полезно определить местовещи именно в той точке, где мы могли бы ее коснуться, ее осязаемые очертания становятся для нас ее реальной

границей, и тогда мы видим в ее действии нечто такое, что от нее отделяется и отличается. Но так как теория материи задается целью обнаружить под этими обычными образами, связанными с нашими потребностями, реальность, то прежде всего она должна отвлечься от этих образов. И мы действительно видим, что сила и материя сближаются и соединяются по мере того, как физика углубляется в изучение их проявлений. Сила материализуется, атом идеализируется, и оба эти понятия сходятся в общем пределе; вселенная, таким образом, вновь обретает свою непрерывность. Об атомах будут еще говорить, атом

См. по этому поводу, Maxwell, Action at a distance (Scientific papers, Cambridge, 1890, т. I, p. 313– 314).

Maxwell, Molecular constitution of bodies (Scientific papers, t. II, p. 618). – С другой стороны, Ван-дер-Ваальс, доказал непрерывность жидкого и газообразного состояний.

Сознание и материальность 287

сохранит свою индивидуальность для нашего ума, который его изолирует, но твердость и инертность атома растворяется либо в движениях, либо в силовых линиях, взаимодействие которых восстановит универсальную непрерывность. К этому заключению неизбежно должны были прийти, исходя из совершенно разных оснований, два физика XIX века, глубже всех проникшие в строение материи, – Томсон и Фарадей. Для Фарадея атом есть "центр сил". Под этим он имеет в виду, что индивидуальность атома заключена в математической точке, где скрещиваются силовые линии, линии бесконечные, расходящиеся в пространстве и реально образующие атом: каждый атом занимает, таким образом, по его выражению, "целиком то пространство, на которое распространяется тяготение" и все атомы взаимопроницаемы". Томсон, исходя из другого рода идей, выдвигает гипотезу о совершенной жидкости, непрерывной, однородной и несжимаемой, которая наполняет пространство; то, что мы называем атомом, представляет собой кольцо неизменной формы, кружащееся в этой непрерывности, причем его свойства зависят от его формы, а его существование, и, следовательно, индивидуальность – от его движения. Но, как мы видим, и в той, и в другой гипотезе, по мере приближения к последним элементам материи, исчезает прерывность, которую наше восприятие установило на ее поверхности. Психологический анализ уже открыл нам, что эта прерывность связана с нашими потребностями; любая философия природы в конце концов обнаруживает ее несовместимость с общими свойствами материи.

По существу, вихри и силовые линии для физика – не что иное, как удобные фигуры, предназначенные для схематизации его вычислений. Но философия должна задаться вопросом, почему эти символы удобнее других и позволяют идти более далеко. Можем ли мы, оперируя ими, вернуться к опыту, и не указывают ли нам понятия, которым они соответствуют, по крайней мере, направление, где следует искать представление о реальном? Но ведь указываемое ими направление не подлежит сомнению: пересекая конкретную протяженность, они показывают модификации пертурбации, изменения напряжения или энергии – и ничего другого. Именно в этом они в особенности сближаются с чисто психологическим анализом движения, который мы уже провели; анализ этот представлял нам движение не как простое изменение отношения между предметами, к которым оно прибавлялось бы как нечто случайное, но как истинную и, в некотором роде, независимую реальность. Ни наука, ни сознание не противоречат, таким образом, нашему последнему положению:

IV. – Реальное движение есть перенос скорее состояния, чем вещи.

Формулируя эти четыре положения, мы, в сущности, только постепенно сузили интервал между двумя элементами, противопоставляемыми друг другу, – между качествами, или ощущениями, и движениями. На первый взгляд, дистанция кажется непреодолимой. Ведь каче-

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
Faraday, Aspeculation concerning electric cotiduction (Phil. Magazine, 3-е
série, vol. XXIV).

Т о м с о н , On vortex atoms (Proc. of Roy. So'c. of. Edinb. 1867) – Гипотезу
подобного же рода высказал Т. Грэхем: Graham, On the molecular mobility of
gases (Proc. of Roy Soc., 1863, p. 621 netsuiv.)

288 Длительность и напряжение

стэа разнородны, а движения однородны; ощущения, по сути, неделимые, ускользают от измерения; движения же, всегда делимые, отличаются доступными измерению различиями направления и скорости. Мы привыкли помещать качества, в виде ощущений, в сознание, тогда как движение происходит в пространстве и не зависит от нас. Эти движения, соединяясь друг с другом, никогда не дадут ничего, кроме движений; наше сознание, неспособное их коснуться, с помощью какого-то таинственного процесса должно перевести их в ощущения, которые затем должны будут спроецироваться в пространство, чтобы облачить собой, неизвестно каким образом, те движения, которые они переводят для сознания. Отсюда два различных мира, которые лишь чудом могут сообщаться: с одной стороны, движения в пространстве, с другой – сознание с ощущениями. И конечно, различие между качеством и чистым количеством, как мы сами некогда показали, остается неустранимым. Но вопрос состоит именно в том, представляют ли собой реальные движения только различия в количестве, или же они могут быть представлены как само качество, которое как бы внутренне вибрирует и возвещает о своем собственном бытии, зачастую в несчетном числе моментов. Движение, изучаемое механикой, есть лишь абстракция или символ, общая мера, общий знаменатель, позволяющий сравнивать между собою все реальные движения; но движения эти, рассматриваемые сами по себе, неделимы, обладают длительностью, предполагают "до" и "после" и соединяют последовательные моменты времени нитью изменчивого сознания. Не можем ли мы представить себе, к примеру, что несовместимость двух воспринятых цветов связана главным образом с узостью длительности, которая охватывает триллионы вибраций, совершаемых ими в одно из выделяемых нами мгновений? Если бы мы могли растянуть эту длительность, то есть переживать ее в более медленном ритме, разве мы не увидели бы по мере замедления ритма, как краски бледнеют и расплываются в последовательные впечатления, еще окрашенные, конечно, но все более и более приближающиеся к тому, чтоб слиться с чистым колебанием? Там, где ритм движения достаточно замедлен, чтоб соответствовать привычкам нашего сознания, – как бывает, например, в низких звуках гаммы – не чувствуем ли мы, что воспринятое качество само по себе распадается на повторные и последовательные колебания, соединенные между собой внутренней непрерывностью? Сближению обычно мешает привычка связывать движение с элементами – атомами и пр., – твердость которых ставится между самим движением и качеством, в которое оно сжимается. Так как наш ежедневный опыт показывает нам движущиеся тела, нам кажется, что для поддержания элементарных движений, к которым сводятся качества, нужны по крайней мере корпускулы. Движение оказывается при этом для нашего воображения лишь случаем, рядом положений, изменением отношений; и поскольку, по закону нашего представления, постоянное замещает непостоянное, то главным и центральным элементом для нас становится атом, движение которого только соединяет последовательные положения. Но эта концепция неудобна не только тем, что вновь ставит применительно к атомам все проблемы, связанные с материей; ее ошибка не только в том, что она приписывает абсолютную ценность этому разделению материи, отве-

Сознание и материальность 289

чающему, по-видимому, главным образом потребностям жизни; она еще делает непостижимым процесс, посредством которого мы охватываем в восприятии одновременно исостояние нашего сознания, и не зависимую от нас реальность. Этот смешанный характер нашего непосредственного восприятия, это, по-видимому, воплощенное противоречие представляет собой главный теоретический довод, заставляющий нас верить во внешний мир, не совпадающий абсолютно с нашим восприятием. Поскольку же довод этот игнорируется учением, считающим ощущение совершенно отличным от движений, которые оно должно переводить в сознание, то

это учение должно было бы, очевидно, ограничиться ощущениями, из которых оно сделало единственное данное, а не добавлять к ним движения, которые, поскольку контакт с ними отсутствует, оказываются бесполезным дубликатом ощущений. Реализм, в таком его понимании, сам себя разрушает. В конце концов у нас нет выбора: если наша вера в более или менее однородный субстрат чувственных качеств может быть обоснована, то исключительно с помощью какого-то действия, которое заставило бы нас уловить или угадать в этом самом качестве нечто превосходящее наше ощущение, как будто ощущение это насыщено предполагаемыми и невоспринятыми деталями. Его объективность, то есть нечто, содержащееся в нем сверх того, что оно дает, будет состоять тогда, как мы это предварительно дали понять, как раз в огромном множестве движений, совершаемых им как бы внутри своей оболочки-хризалиды. Качество располагается неподвижно на поверхности, но оно живет и вибрирует в глубине.

На самом деле никто иначе и не представляет себе отношение количества к качеству. Верить в реальности, отличные от воспринятых реальностей, значит прежде всего признавать, что порядок наших восприятий зависит не от нас, а от них. Стало быть, в совокупности восприятий, заполняющих данный момент, должна заключаться причина того, что произойдет в последующий момент, и механицизм лишь точнее формулирует это мнение, утверждая, что состояния материи могут выводиться друг из друга. Этот вывод, правда, возможен только в том случае, если под внешней разнородностью чувственных качеств обнаруживаются однородные и измеримые элементы. Но, с другой стороны, если эти элементы находятся вне качеств, правильный порядок которых они должны объяснить, то они уже для этого не пригодны, потому что в таком случае качества присоединяются к ним каким-то чудом и соответствуют им лишь в силу предустановленной гармонии. Приходится, таким образом, поместить эти движения, придав им вид внутренних колебаний, внутри этих качеств, считать колебания менее однородными, а качества – менее разнородными, чем они кажутся на первый взгляд, и приписать внешнее различие двух понятий тому, что этой в определенном смысле бесконечной множественности колебаний приходится сжиматься в длительность слишком тесную, чтобы можно было выделить отдельные ее моменты.

Остановимся на последнем вопросе, которого мы уже касались коротко в другом месте, но который считаем существенным. Длительность, переживаемая нашим сознанием, имеет определенный ритм и весьма отлична от времени, о котором говорит физик и которое может вместить, в данном интервале, любое число явлений. За одну секунду

290 Длительность и напряжение <

красный свет – его волны имеют наибольшую длину, и колебания их, соответственно, обладают наименьшей частотой – совершает 400 триллионов последовательных колебаний. Хотите составить себе понятие об этом числе? Тогда нужно разредить отдельные колебания настолько, чтобы наше сознание могло их сосчитать или, по крайней мере, отчетливо различить их последовательность, а затем вычислить, сколько эта последовательность заняла бы дней, месяцев или лет. Самый малый промежуток пустого времени, осознаваемый нами, равен, по Экснеру, двум тысячным секунды, при этом сомнительно, что мы можем воспринять несколько таких коротких промежутков подряд. Допустим все же, что мы способны делать это бесконечно. Словом, представим себе, что какое-нибудь сознание наблюдает за последовательностью 400 триллионов колебаний, мгновенных и разделенных лишь двумя тысячными секунды, которые необходимы для их различения. Простейшее вычисление покажет, что понадобится более 25000 лет, чтобы закончить эту операцию. Таким образом, ощущение красного света, испытываемое нами за секунду, соответствует последовательности явлений, которые, если их развернуть в нашей длительности со всей возможной экономией времени, заняли бы более 250 веков нашей истории. Постижимо ли это? Здесь надо различать нашу собственную длительность и время в целом. В нашей длительности, которую воспринимает наше сознание, любой данный интервал вмещает лишь ограниченное число осознаваемых явлений. Можем ли мы представить себе, что эта вместимость увеличивается, и об этой ли длительности мы думаем, говоря о бесконечно делимом времени?

Пока речь идет о пространстве, можно продолжать деление сколько угодно: это ничего не меняет в природе того, что делают. Дело в том, что пространство, по определению, находится вне нас, и часть пространства кажется нам существующей, даже когда мы перестаем ей заниматься. Оставив эту часть пространства неразделенной в данный момент, мы знаем, что она может подождать, пока со временем новое усилие воображения в свою очередь ее разделит. К тому же, так как пространство никогда не перестает быть пространством, оно всегда допускает рядопо-ложение и, следовательно, возможное разделение. Пространство, по сути, – это всего лишь схема бесконечной делимости. Но с длительностью все обстоит иначе. Части нашей длительности совпадают с последовательными моментами разделяющего ее акта: сколько мы выделяем в ней моментов, столько в ней и содержится частей; и если наше сознание может различить в одном интервале только определенное число элементарных актов, если оно где-либо прекращает деление, – тут же прекращается и делимое. Напрасно наше воображение силится идти дальше, разделить в свою очередь эти последние части и как бы ускорить циркуляцию наших внутренних явлений: то самое усилие, посредством которой мы хотели бы продвинуться дальше в дроблении нашей длительности, лишь удлинит ее. Тем не менее мы знаем, что миллионы явлений проходят друг за другом за то время, когда мы едва можем сосчитать несколько из них. Не одна физика говорит нам об этом: уже \wedge грубый чувственный опыт позволяет об этом догадаться, и мы предчувствуем, что в природе существуют последовательности гораздо более скоротечные, чем последовательности наших внутренних состояний.

Сознание и материальность²⁹¹

Как же их представить себе, и что это за длительность, вместимость которого превосходит всякое воображение?

Это, конечно, не наша длительность, однако, и не та безличная и однородная длительность, одинаковая для всех и вся, которая протекала бы, безразличная и пустая, вне того, что длится. Так называемое однородное время, как мы пытались доказать в другом месте, представляет собой идол языка, фикцию, истоки которой легко обнаружить. В действительности нет единого ритма длительности: можно представить себе много различных ритмов, более медленных или более быстрых, которые измеряли бы степень напряжения или ослабления тех или иных сознаний и тем самым определяли бы соответствующее им место в ряду существ. Это представление о длительностях различной эластичности, быть может, трудно для нашего ума, который приобрел утилитарную привычку представлять вместо истинной длительности, переживаемой сознанием, однородное и независимое время, но, во-первых, как мы уже показали, легко разоблачить иллюзию, делающую подобное представление трудным, а во-вторых, эта идея в основе своей подкрепляется молчаливым согласием нашего сознания. Не приходилось ли нам чувствовать в нас самих, во время сна, двух отдельных людей, сосуществующих одновременно, один из которых спит несколько минут, тогда как сновидение другого занимает дни и недели? И разве вся история в целом не могла бы вписаться в очень короткий промежуток времени для сознания более напряженного, чем наше, которое присутствовало бы при развитии человечества, как бы сжимая это развитие в крупные фазы эволюции? В итоге "воспринимать" – значит сгущать огромные периоды бесконечно растянутого существования в несколько дифференцированных моментов более интенсивной жизни, резюмируя таким образом очень длинную историю. Воспринимать – значит делать неподвижным.

Это означает, что в акте восприятия мы достигаем чего-то, превосходящего само восприятие, хотя материальная вселенная при этом существенно не отличается от нашего представления о ней. В известном смысле мое Восприятие существует внутри меня, ибо оно сжимает в единый момент моей длительности то, что само по себе распределилось бы на несчетное число моментов. Но если упразднить мое сознание, материальная вселенная останется такой же, какой была: единственно, поскольку мы абстрагируемся при этом от того особого ритма длительности, который был условием моего действия на вещи, то эти вещи вернутся к самим себе, чтобы распределиться в стольких моментах, сколько их различает наука, а чувственные качества \wedge исчезая, распространятся и расплывутся* в длительности, несравненно более разделенной. Материя сводится, таким образом, к бесчисленным колебаниям, соединенным в непрерывной слитности и всеобщем согласовании и разбегающимся,

подобно ознобу, по всем направлениям. Словом, соедините вновь отдельные предметы вашего повседневного опыта, превратите затем застывшую непрерывность их качеств в колебания на месте, сосредоточьтесь на этих движениях, отвлекаясь от подведенного под них делимого пространства и обращая внимание только на их подвижность – тот нераздельный акт, который улавливает ваше сознание в ваших собственных движениях: и тогда вы получите видение материи,

"1

292 Протяженность и экстенсивность

утомительное, может быть, для вашего воображения, но чистое, освобожденное от того, что привносится во внешнее восприятие потребностями жизни. Восстановите теперь мое сознание, а с ним и потребности жизни: повсюду, и тут, и там, перескакивая всякий раз через огромные периоды внутренней истории вещей, вы "снимете" их квазимоментальные виды, виды на этот раз живописные, более резкие краски которых сгущает бесконечность повторений и элементарных изменений. Так тысячи последовательных положений бегуна сжимаются в одно символическое положение, воспринимаемое нашим глазом, воспроизводимое искусством: оно и становится для всех изображением бегущего человека. Взгляд, который мы бросаем вокруг себя, от момента к моменту улавливает только следствия множества повторений и внутренних эволюции -- следствия, тем самым отделенные друг от друга. Непрерывность же их мы восстанавливаем с помощью относительных движений, которые приписываем "предметам" в пространстве. Изменение есть повсюду, но оно происходит в глубине; мы же, хотя и локализуем его повсеместно, но делаем это на поверхности: таким образом мы конституируем тела, одновременно устойчивые по качествам и подвижные по положениям, сводя при этом универсальную трансформацию к простой перемене мест.

Бесспорно, что в известном смысле существует множество предметов, – один человек отличается от другого, дерево от дерева, камень от камня, так как каждое из этих существ, каждая из этих вещей имеет характерные особенности и подчиняется определенному закону эволюции. Но вещь и то, что ее окружает, не могут быть резко разделены, постепенно и незаметно осуществляется переход от одной вещи к другой: тесная взаимосвязь всех предметов материального мира, непрерывность их взаимодействий и реакций доказывают, что они не имеют тех точных границ, которые мы им приписываем. Наше восприятие как бы очерчивает их осадочную форму, оно определяет предметы в той точке, где останавливается наше возможное действие на них и где, следовательно, они перестают касаться наших потребностей. Такова первая и наиболее очевидная операция воспринимающего ума: он прочерчивает деления в непрерывности протяжения, просто подчиняясь внушениям потребностей и нуждам практической жизни. Но чтобы делить таким образом реальное, мы должны предварительно убедиться, что оно поддается произвольному делению. Мы должны, следовательно, натянуть под непрерывностью чувственных качеств, то есть конкретной протяженностью, сеть с петлями, которые могут бесконечно менять форму и бесконечно уменьшаться: этот вполне доступный пониманию субстрат, эта совершенно идеальная схема произвольной и бесконечной делимости и есть однородное пространство. – Теперь, пока наше актуальное и, так сказать, мгновенное восприятие осуществляет это деление материи на независимые предметы, наша память уплотняет в чувственные качества непрерывный поток вещей. Она продолжает прошлое в настоящем, так как наше действие будет распоряжаться будущим в той самой мере, в какой наше восприятие, расширенное благодаря памяти, спрессует прошлое. Отвечать на испытанное воздействие немедленной реакцией, которая воспринимает тот же ритм и продолжается в той же длительности, быть в данном настоящем и насто-

Сознание и материальность 293

ящем, беспрестанно возобновляющемся, – именно в этом состоит основной закон материи, в этом состоит необходимость. Если существуют свободные или, по крайней мере, отчасти недетерминированные действия, то их могут выполнять только существа, способные в определенных границах становления, на которое

накладывается их собственное становление, уплотнять его в отдельные моменты, конденсировать из него таким образом материю и, ассимилируя, преобразовывать в ответные движения, которые пройдут сквозь петли естественной необходимости. Больше или меньшее напряжение их длительности, выражающее, в сущности, болыпупф или меньшую интенсивность жизни, определяет, таким образом, и силу концентрации их восприятий, и степень их свободы. Независимость их воздействия на окружающую материю укрепляется все больше и больше по мере того, как они освобождаются от ритма, в котором движется эта материя. Таким образом, чувственные качества, в том виде, в каком они фигурируют в нашем восприятии, удвоенном памятью, представляют собой именно последовательные моменты, полученные в результате уплотнения реального. Но для того, чтобы различать эти моменты, а также связать их нитью, присущей и нашему существованию, и существованию вещей, мы должны вообразить абстрактную схему последовательности вообще, однородную и безразличную среду, которая была бы для потока материи, в отношении его длины, тем, чем служит пространство в отношении широты: эта схема и есть однородное время. Таким образом, однородное пространство и однородное время – это и не свойства вещей, и не существенные условия нашей способности их познавать: они выражают в абстрактной форме двойную операцию уплотнения и деления, которой мы подвергаем подвижную непрерывность реального, чтобы обеспечить себе в ней точки опоры, наметить центры действия, наконец, ввести в нее настоящие изменения; это – схемы нашего действия на материю. Исходное заблуждение, состоящее в том, что однородное время и пространство превращаются в свойства вещей, ведет к непреодолимым трудностям метафизического догматизма – механицизма или динамизма. Динамизм возводит в абсолют последовательные разрезы, которыми мы рассекаем течение потока вселенной, а потом тщетно стараемся вновь связать между собою отдельные части чем-то вроде качественной дедукции; механицизм же скорее рассекает вселенную вширь, то есть берет какое-то мгновенное сечение дифференцированных величин и позиций и столь же тщетно силится породить посредством вариации этих различий последовательность чувственных качеств. Но, быть может, принять иную гипотезу и признать вместе с Кантом пространство и время формами нашей чувственности? Тогда нам приходится объявить и материю, и дух одинаково непознаваемыми. Но если сравнить две эти противоположные гипотезы, видно, что они исходят из общего основания: делая из однородного времени и однородного пространства созерцаемые реальности или формы созерцания, обе они приписывают времени и пространству скорее спекулятивное, чем жизненное значение. А в таком случае между метафизическим догматизмом, с одной стороны, и критической философией, с другой, находится место для учения, которое видит в однородном времени и пространстве принципы деления и уплотнения, вносимые в реальность ради действ-

294 Протяженность и экстенсивность

вия, а не познания. Это учение признает всегда реальную длительность и реальную Протяженность и усматривает, наконец, истоки всех трудностей уже не в этой длительности и не в этом протяжении, действительно принадлежащих вещам и непосредственно обнаруживающих себя нашему разуму, но в однородном времени и пространстве, которые мы протягиваем под ними, чтобы делить непрерывность, фиксировать становление и обеспечивать точки опоры нашей деятельности.

Но ошибочные понятия чувственного качества и пространства так глубоко укоренились в уме, что их нужно было бы опровергать одновременно в слишком многих аспектах. Скажем лишь, чтобы представить их с новой стороны, что они предполагают двойной постулат, принимаемый и реализмом, и идеализмом: 1. Между различными родами качеств нет ничего общего; 2. Нет также ничего общего между протяжением и чистым качеством. Мы же, напротив, полагаем, что между качествами разного порядка есть нечто общее, что все они в разной степени причастны протяжению и что нельзя игнорировать эти две истины, не загромождая тысячами трудностей метафизику материи, психологию восприятия и, в более общем смысле, вопрос об отношении сознания к материи. Не останавливаясь на этих последствиях, ограничимся пока демонстрацией того, что в основе различных теорий материи лежат оспариваемые нами постулаты, и выявим иллюзию, которая служит их отправной точкой.

Сущность английского идеализма состоит в том, что он считает протяженность

свойством осязательных» восприятий. Поскольку он рассматривает чувственные качества только как ощущения, а сами ощущения как состояния души, то в различных качествах он не находит ничего, что могло бы обосновать параллелизм их явлений: ему неизбежно приходится объяснять этот параллелизм привычкой, вследствие которой наличные зрительные восприятия, например, внушат нам возможные восприятия осязания. Если впечатления двух различных чувств не более сходны, чем слова двух языков, тщетно было бы и пытаться вывести данные одного из данных другого: у них нет общих элементов. А значит, нет ничего общего и между протяженностью, которая всегда осязательна, и данными других чувств, которые никоим образом не могут быть протяженными.

Но, в свою очередь, и атомистический реализм, который помещает движение в пространство, а ощущения – в сознание, не может обнаружить ничего общего между этими модификациями или феноменами протяженности и соответствующими им ощущениями. Эти ощущения как-будто бы излучаются модификациями протяженности, как своего рода фосфоресценции, или якобы переводят на язык души проявления материи, но ни в том, ни в другом случае они не отражали бы в виде образа своих причин. Конечно, все они исходят из общего источника – из движения в пространстве, но именно потому, что они развиваются вне пространства, они отвергают, став ощущениями, родство, соединявшее их причины. Порывая с пространством, они разрывают и связь между собой и не причастны, таким образом, ни друг другу, ни протяжению.

Таким образом, идеализм и реализм отличны здесь только в том, что первый отодвигает протяженность до уровня осязания, исключитель-

Сознание и материальность²⁹⁵

ным свойством которого оно становится, а второй выталкивает его еще дальше, за пределы всякого восприятия. Но обе концепции согласны в констатации обособленности чувственных качеств различных порядков, как и резкого перехода от чисто протяженного к тому, что не может быть протяженным никоим образом. Главные трудности, с которыми обе эти концепции сталкиваются в теории восприятия, вытекают из этого общего постулата.

Быть может, действительно предположить, вместе с Беркли, что всякое восприятие протяженности соотносено с осязанием? Можно тогда, пожалуй, отказаться в протяженности данным слуха, обоняния и вкуса, но придется все же объяснить генезис зрительного пространства, соответствующего пространству осязательному. Правда, ссылаются на то, что зрение в конце концов становится символом осязания и что в зрительном восприятии пространственных отношений нет ничего, кроме того, что внушено осязательными восприятиями. Но нам трудно понять, как, например, зрительное восприятие рельефа, производящее на нас впечатление *suī generis*, к тому же не поддающееся описанию, совпадает с простым воспоминанием ощущения осязания. Ассоциация воспоминания с наличным восприятием может усложнить это восприятие, обогатив его каким-то уже известным элементом, но не может создать нового рода впечатления, нового качества восприятия: между тем зрительное восприятие рельефа имеет вполне оригинальный характер. Можно возразить, что иллюзию рельефа создает и плоская поверхность. Из этого следует, что поверхность, на которой игра света и теней хорошо имитирует рельефный предмет, может напомнить нам рельеф; но чтобы его можно было напомнить, нужно еще, чтобы он прежде действительно был воспринят. Мы уже говорили, но не считаем лишним еще раз повторить: наши теории восприятия совершенно искажены идеей, что если какое-то устройство, или расположение создает в данный момент иллюзию какого-нибудь восприятия, то его всегда было достаточно для создания самого этого восприятия, – как будто роль памяти не состоит именно в том, чтобы сохранять сложность следствия после упрощения причины! Можно еще возразить, что сама сетчатка представляет собой плоскую поверхность и что если мы с помощью зрения воспринимаем нечто протяженное, то это может быть лишь образом на сетчатке. Но разве не верно, как мы показали в начале этой книги, что в зрительном восприятии предмета мозг, нервы, сетчатка сам предмет составляют единое целое, непрерывный процесс, где образ на сетчатке является только эпизодом: по какому же праву можно отделить этот образ и сосредоточивать в нем все восприятие? Кроме того, как мы показали в

другом месте, можно ли воспринять поверхность как поверхность иначе как в пространстве, где восстановлены все три измерения? Беркли по крайней мере довел свой тезис до логического конца: он отрицал всякое восприятие протяженности с помощью зрения. Но наши возражения тогда приобретают новую силу, ибо непонятно, как в результате простой ассоциации воспоминаний может появиться то оригинальное, что заключено в наших зрительных восприя-

Essai sur les deux états de la conscience, Paris, 1889, p. 77 et 78 (стр. 91-92 наст, тома)

296 Протяженность и экстенсивность

тиях линии, поверхности и объема, – восприятиях столь ясных, что математик довольствуется ими и обычно рассуждает о пространстве чисто зрительно. Но не будем останавливаться на этих вопросах, как и на спорных аргументах, почерпнутых из наблюдений над слепыми, подвергнутыми операции: классическая, со времен Беркли, теория приобретенных зрительных восприятий, по-видимому, не может противостоять многочисленным нападкам на нее современной психологии. Оставляя в стороне трудности психологического порядка, укажем лишь один существенный для нас пункт. Допустим на минуту, что зрение изначально не дает нам сведений ни о каких пространственных отношениях: зримая форма, зримый рельеф, зримое расстояние становятся тогда символами осязательных восприятий. Но нам нужно объяснить, как возможен этот символизм. Вот предметы, которые изменяются по форме и движутся. Зрение констатирует определенные изменения, которые затем проверяются осязанием. Значит, в этих двух рядах, зрительном и осязательном, или в их причинах, есть нечто, заставляющее их соответствовать друг другу и обеспечивающее постоянство их параллелизма. В чем же причина этой связи?

Для английского идеализма это может быть лишь какой-то *deus ex machina*, и мы возвращаемся к тайне. Для вульгарного реализма причина взаимного соответствия ощущений заключена в пространстве, отличном от ощущений; но это учение только отодвигает трудность и даже увеличивает ее, поскольку оно должно объяснить нам, как система однородных движений в пространстве может вызывать различные ощущения, никак не связанные друг с другом. Мы только что видели, что генезис зрительного восприятия пространства из простой ассоциации образов как бы предполагал настоящее творение *ex nihilo*: здесь все ощущения рождаются из ничего или, по крайней мере, не имеют никакого отношения к обуславливающему их движению. В сущности, вторая теория гораздо меньше отличается от первой, чем полагают. Аморфное пространство, сталкивающиеся атомы – это не что иное, как объективированные осязательные восприятия, отделенные от других восприятий в силу приписываемой им важности и превращением в независимые реальности с целью отличия их от других ощущений, которые становятся их символами. При этом осязание лишили и части его содержания: сведя все чувства к осязанию, от него самого сохранили только абстрактную схему осязательного восприятия, чтобы построить с ее помощью внешний мир. Можно ли удивляться, что всякая связь между этой абстракцией, с одной стороны, и ощущениями, с другой, становится уже невозможной? На самом же деле пространство ничуть не больше вне нас, чем внутри нас, и не принадлежит привилегированной группе ощущений. Все ощущения причастны протяженности, все пускают в протяженность более или менее глубокие корни, и трудности вульгарного реализма вытекают из того, что, поскольку то, что родит, я, извлечено из них и помещено отдельно в виде бесконечного

См. по этому поводу: Paul Janet, *L'aperception visuelle de la distance*. *Revue philosophique*, 1879, t. VII, p. 1 и et suiv. – William James, *Principles of Psychology*, т. II, гл. XXII. – Ср. также к вопросу о зрительном восприятии протяженности: Dunan, *L'espace visuel et l'espace tactile* (*Revue philosophique*, февраль и апрель 1888. Janvier. 1889).

Сознание и материальность 297

и пустого пространства, мы уже не видим ни причастности этих ощущений

Идея о том, что все наши ощущения в некоторой степени экстенсивны, все больше и больше проникает в современную психологию. Утверждают, и не без основания, что нет ощущения без "экстенсивности" или без "чувства объема". Английский идеализм хотел оставить за осязанием монополию на протяженность, причем другие чувства оказывались бы в пространстве лишь в той мере, в какой они напоминают нам о данных осязания. Наоборот, более внимательная психология показывает нам и, конечно, покажет еще лучше, что все ощущения изначально экстенсивны, при том, что их протяженность бледнеет и скрадывается в сравнении с более высокой интенсивностью и полезностью осязательной и, конечно, также зрительной протяженностью.

Понятое таким образом пространство – это действительно символ устойчивости и бесконечной делимости. Конкретная протяженность, то есть разнообразие чувственных качеств, не находится внутри этого пространства: напротив, это разнообразие чувственных качеств вмещает в себя вложенное в него нами пространство. Пространство нельзя считать опорой, на которой располагается реальное движение: наоборот, это реальное движение прокладывает его под собой. Но наше воображение, озабоченное прежде всего удобством выражения и требованиями материальной жизни, предпочитает перевернуть естественный порядок вещей. – Привыкшее искать точку опоры в мире полностью выстроенных, неподвижных образов, видимая устойчивость которых отражает главным образом неизменность наших низших потребностей, оно не может не принимать его за отправной пункт, не опираться на него и, наконец, не видеть уже в движении только изменение расстояния, поскольку пространство для него предшествует движению. Итак, в однородном и бесконечно делимом пространстве оно начертит траекторию и установит положения: затем, приложив движение к траектории, оно захочет, чтобы движение было так же делимо, как эта линия, и подобно ей лишено качеств. Нужно ли удивляться, что наш рассудок, имея дело с этой идеей, которая представляет собой прямое извращение реальности, обнаруживает в ней одни лишь противоречия? Ассимилировав движения в пространстве, их считают столь же однородными, как и пространство: а поскольку между ними хотят видеть только счисли-мые различия в направлении и скорости, то всякая связь между движением и качеством уничтожается. Теперь остается только заключить движение в пространство, качества в сознание и установить между этими двумя параллельными рядами, которые, как предполагается, никогда не пересекутся, таинственное соответствие. Отброшенное в сознание, чувственное качество уже не способно вновь освоить протя-

Ward, статья *Psychology* в *Encyclop. Britannica*.

W. James, *Principles of Psychology*, t. II, p. 134 *etsuiv.* – Заметим мимоходом, что мнение это, строго говоря, можно было бы приписать Канту, ибо "Трансцендентальная эстетика" не делает разницы между различными данными чувств, поскольку вопрос идет об их протяженности в пространстве. Но не следует забывать, что точка зрения кантовской критики совершенно отлична от психологической, и что для нее вполне достаточно того, чтобы все наши ощущения были вконец концевлокализованы, когда восприятие примет свою окончательную форму.

298 Душа и тело

женность. Помещенное в пространство – пространство абстрактное, где всегда существует лишь один-момент и все всегда начинается заново, – движение отчуждается от той слаженности настоящего и прошлого, которая составляет самую его суть. А поскольку эти два аспекта восприятия, качество и движение, одинаково затемняются, феномен восприятия, где замкнутое в самом себе и чуждое пространству сознание переводит на свой язык то, что происходит в пространстве, – становится неразрешимой тайной. – Отстраним, напротив, всякую предвзятую идею истолкования или измерения, станем лицом к лицу с непосредственной реальностью: мы не обнаружим больше ни непреодолимой дистанции, ни существенной разницы, ни даже настоящего различия между восприятием и воспринимаемой вещью, между

Мы возвращаемся, таким образом, через долгий обходной путь, к заключениям, к которым пришли в первой главе этой книги. Наше восприятие, говорили мы, изначально находится скорее в вещах, чем в духе, скорее вне нас, чем в нас. Восприятия различного рода обозначают различные направления реальности. Но это восприятие, совпадающее со своим объектом, добавляли мы, существует скорее *de jure*, чем *de facto*: оно занимает лишь мгновение. В конкретное восприятие вмешивается память, и субъективность чувственных качеств связана с тем, что наше сознание, которое сначала есть не что иное, как память, продолжает одни моменты в других, чтобы схватить их в единой интуиции. Сознание и материя, душа и тело в восприятии, таким образом, соприкасаются. Но мысль эта оставалась в одном отношении не совсем ясной, потому что в таком случае наше восприятие, а следовательно, и сознание должны были бы обладать свойством делимости, приписываемым материи. Если мы вполне естественно отказываемся принимать в дуалистической гипотезе идею частичного совпадения воспринятого объекта и воспринимающего субъекта, причина этого в том, что мы осознаем нераздельное единство нашего восприятия, тогда как объект кажется нам, по самой сути, бесконечно делимым. Отсюда – гипотеза о сознании, имеющем непротяженные ощущения и противостоящем протяженной множественности. Но если делимость материи зависит лишь от нашего действия на материю, то есть от нашей способности изменять ее облик, если делимость – это свойство не самой материи, а пространства, которое мы подводим под нее, чтобы сделать доступной нашему действию, то эта трудность исчезает. Протяженная материя, рассматриваемая в целом, подобна сознанию, где все уравновешено, компенсировано и нейтрализовано; она действительно допускает неделимость нашего восприятия, так что верно и обратное: мы смело можем приписать восприятию нечто от протяженности материи. Эти два элемента, восприятие и материя, по мере нашего освобождения от того, что можно назвать предрассудком действия, все более сближаются, ощущения вновь приобретают экстенсивность, а конкретная протяженность – свою естественную непрерывность и неделимость. Однородное же пространство, выжившее между двумя этими элементами как несокрушимая преграда, обладает отныне лишь реальностью схемы или символа. Оно имеет значение для поступков существа, действующего на материю, но не для работы ума, размышляющего о ее сущности.

Сознание и материальность .299

Этим же в определенной мере проясняется вопрос, к которому сводятся все наши исследования; вопрос о связи души и тела. Неясность этой проблемы в дуалистической гипотезе вытекает из понимания материи как делимой, а всякого состояния души – как строго неэкстенсивного, так что с самого начала между этими двумя элементами сообщение прерывается. Если углубить этот постулат, то в нем обнаруживается, в отношении материи, смешение конкретной и неделимой протяженности с подведенным под нее делимым пространством, а в отношении духа – ошибочная мысль, что нет промежуточных степеней, нет возможного перехода от протяженного к непротяженному. Но если оба эти постулата заключают в себе общую ошибку, если постепенный переход от идеи к образу и от образа к ощущению существует, если душевное состояние, постепенно продвигаясь к осуществлению, то есть к действию, становится все более экстенсивным, если, наконец, эта экстенсивность, однажды достигнутая, остается неделимой и ничуть не оспаривает единства души, то становится понятным, что в акте чистого восприятия дух может наложиться на материю и, следовательно, соединиться с ней, тем не менее радикально от нее отличаясь. Это отличие состоит в том, что даже тогда он не может не быть памятью, то есть синтезом прошлого и настоящего, имеющим в виду будущее; он сжимает моменты материи, чтобы, воспользовавшись этим, проявляться в действиях, в чем и заключается разумное основание его соединения с телом. Мы были, таким образом, правы, сказав в начале этой книги, что различие между телом и духом должно определяться как функция не пространства, но времени.

Ошибка вульгарного дуализма в том, что он встает на точку зрения пространства и помещает, с одной стороны, материю с ее видоизменениями в пространстве, а с другой – непротяженные ощущения в сознании. Поэтому невозможно понять, как дух действует на тело или тело – на дух. Отсюда гипотезы, которые не могут быть ничем иным, как только замаскированной констатацией этого факта, – идеи

параллелизма или предустановленной гармонии. Но отсюда вытекает также невозможность создать психологию памяти и метафизику материи. Мы пытались доказать, что эта психология и метафизика материи взаимосвязаны и что трудности сглаживаются в дуализме, который, исходя из чистого восприятия, где субъект и объект совпадают, помещает их в соответствующие им длительности. Материя, по мере углубления ее анализа, все более приближается к тому, чтобы стать последовательностью бесконечно скоротечных моментов, которые выводятся один из другого, а потому оказываются эквивалентными; дух же, будучи памятью уже на стадии восприятия, все более выступает как продолжение прошлого в настоящем, как прогресс, как полипная эволюция.

Но становится ли, благодаря этому, яснее отношение тела и духа? Пространственное различие мы заменяем различием временным: легче ли удастся от этого соединить дух и тело? Нужно отметить, что первое различие не допускает степеней: материя существует в пространстве, дух вне пространства – между ними нет возможного перехода. Напротив, если самая скромная роль духа состоит в том, чтобы связывать последовательные моменты длительности вещей, если посредством этой операции он приходит в соприкосновение с материей и этой же

300 Душа и тело

операцией, изначально от нее отличается, тогда можно представить бесконечность степеней между материей и полностью развитым духом, способным не только на индетерминированные действия, но и на действия разумные и обдуманые. Каждая из этих последовательных степеней, измеряющих растущую интенсивность жизни, соответствует более высокому напряжению длительности и внешне выражается во все большем развитии сенсомоторной системы. Возрастающая же сложность нервной системы предоставляет, как оказывается, все большую свободу действий живому существу, наделяет его способностью ждать, прежде чем реагировать, и ставить полученное раздражение в соответствие с увеличивающимся разнообразием двигательных механизмов. Но это только внешняя сторона: более сложная организация нервной системы, которая, казалось бы, и обеспечивает живому существу большую независимость от материи лишь материально символизирует саму эту независимость, внутреннюю сгшгу, позволяющую ему освободиться от ритма потока вещей и все лучше и лучше удерживать прошлое, чтобы оказывать все более глубокое влияние на будущее, – то есть, в конечном счете, его память, в том особом смысле, в каком мы ее понимаем. Таким образом, между нетронутой, грубой материей и наиболее способным к рефлексии духом существуют все возможные степени интенсивности памяти, то есть все степени свободы. В первой гипотезе, где различие между духом и телом выражается в понятиях пространства, тело и дух уподобляются двум железнодорожным путям, пересекающимся под прямым углом; согласно второй, – рельсы как бы сближаются по кривой, так что можно незаметно перейти с одного пути на другой. Но есть ли здесь что-то помимо образа? Не остается ли все же резкого разрыва, неустранимой противоположности между материей в собственном смысле слова и низшей степенью свободы или памяти? Да, конечно, различие остается, но соединение становится возможным, поскольку в радикальной форме частичного совпадения оно возникло бы в чистом восприятии. Трудности вульгарного дуализма происходят не из того,* что термины материи и духа различаются, а из того, что не видно, как один из них смыкается с другим. Мы показали, что чистое восприятие, являющееся низшей степенью духа – духом без памяти, – действительно составляет часть материи в нашем ее понимании. Пойдем дальше: память не начинает действовать как некая внешняя функция, о которой материя не имела бы никакого предчувствия и которую не имитировала бы на свой лад. Если материя и не помнит прошлого, то лишь потому, что она непрерывно его повторяет, поскольку, подчиненная необходимости, она разворачивает ряд моментов, каждый из которых эквивалентен предыдущему и может быть выведен из него: таким образом, ее прошлое в подлинном смысле дано в ее настоящем. Но существо, которое более или менее свободно эволюционирует, в каждый момент творит нечто новое: поэтому бесполезно было бы вычитывать его прошлое в его настоящем, если бы прошлое не сохранялось у него в виде воспоминания. Таким образом, прибегая вновь к метафоре, много раз появлявшейся в этой книге по сходным соображениям, необходимо, чтобы прошлое проигрывалось материей и образно представлялось духом.

Краткое изложение итогов и заключение.

L – Идея, которую мы вывели из фактов и подтвердили рассуждением, состоит в том, что наше тело представляет собой инструмент действия и только действия. Ни в коей мере, ни в каком смысле, ни в каком аспекте оно не служит для выработки и тем более для объяснения представления. Возьмем внешнее восприятие. Между так называемыми перцептивными способностями головного мозга и рефлекторными функциями спинного мозга разница только в степени, а не по существу. Тогда как спинной мозг превращает полученные импульсы в более или менее неизбежно совершающиеся движения, головной мозг приводит эти импульсы в сообщение с двигательными механизмами, более или менее свободно выбираемыми; таким образом, в наших восприятиях операциями головного мозга можно объяснить наши действия – начатые, или подготавливаемые, или внушаемые, но не сами наши восприятия. Или пусть речь идет о воспоминании. – Тело сохраняет двигательные привычки, способные снова проиграть прошлое: оно может вновь занять двигательные установки, в которые прошлое сможет вписаться, или же, через повторение мозговых явлений, которые были продолжением давних восприятий, оно может предоставить воспоминанию точку соприкосновения с актуальным – способ отвоевать утерянное влияние на наличную реальность; в любом случае мозг не будет накапливать воспоминания или образы. Таким образом, ни в восприятии, ни в памяти, ни тем более в высших операциях духа тело непосредственно в образовании представлений не участвует. Развивая эту гипотезу в ее многообразных аспектах и доводя таким образом дуализм до крайнего предела, мы, казалось бы, рыли бездонную пропасть между телом и духом. На самом же деле, мы указывали единственное возможное средство их сближения и соединения.

П. – В самом деле, все трудности, вырастающие из этой проблемы, – в вульгарном дуализме, в материализме или идеализме – происходят от того, что в явлениях восприятия и памяти телесное и духовное рассматриваются как дубликаты друг друга. Если я стану на материалистическую точку зрения сознания-эпифеномена, то непонятно, почему некоторые мозговые явления сопровождаются сознанием, то есть для чего служит или как происходит сознательное воспроизведение заранее данной материальной вселенной. Если же я встану на точку зрения идеализма, то в моем распоряжении окажутся только восприя-

302, Краткое изложение итогов и заключение

тия, и мое тело будет одним из них. Но в то время, как наблюдение показывает мне, что воспринятые образы переворачиваются сверху донизу при самых незначительных видоизменениях того образа, который я называю своим телом (мне стоит закрыть глаза, чтоб исчезла видимая мной вселенная), наука уверяет меня, что все явления должны следовать одно за другим и обуславливать друг друга в определенном порядке, где все следствия находятся в строгой соразмерности с причинами. Я должен, следовательно, искать в том образе, который называю своим телом и который всегда и повсюду при мне, изменений, которые были бы на этот раз хорошо упорядочены, точно соразмерны друг другу и эквивалентны образам вокруг моего тела: мозговые движения, которые я при этом вновь обнаружу, снова станут дубликатом моих восприятий. Правда, эти движения будут все-таки восприятиями, восприятиями "возможными", так что эта вторая гипотеза понятнее первой; но зато ей придется, в свою очередь, предположить необъяснимое соответствие между моим реальным восприятием вещей и моим возможным восприятием некоторых мозговых движений, которые ничуть на эти вещи не похожи. При ближайшем рассмотрении становится видно, что именно в этом и заложен камень преткновения любого идеализма: он состоит в этом переходе от порядка, который является нам в восприятии, к порядку, который намудается установить в науке, – или, если речь идет, в частности, о кантовском идеализме, в переходе от чувственности к рассудку. – Остается еще вульгарный дуализм. Я помещаю с одной стороны материя, с другой стороны дух, и предполагаю, что мозговые движения – это причина или повод моего представления о предметах. Но если они составляют причину представления, если их достаточно для его выработки, я постепенно опять впадаю в материалистическую гипотезу сознания-эпифеномена. Если же они оказываются только поводом, это означает, что между этими движениями и представлениями нет никакого сходства; но тогда, отняв у материи все качества, которыми я одарил ее в своем представлении, я возвращусь к идеализму. Идеализм и материализм составляют, таким образом, два полюса, между которыми всегда будет колебаться такого рода

дуализм; а когда для удержания двойственности субстанций он решится возвести их в один ранг, то вынужден будет видеть в них два перевода одного и того же оригинала > два заранее упорядоченных развития одного и того же принципа, а значит, будет вынужден отрицать их взаимное влияние и, как неизбежное следствие, принести в жертву свободу.

Теперь, углубляя эти три гипотезы, я нахожу в них общее основание: они принимают элементарные действия духа, восприятие и память за акты чистого познания. В основе сознания они полагают то бесполезный дубликат внешней реальности, то инертную материю как продукт совершенно незаинтересованного интеллектуального построения: но они неизменно пренебрегают отношением восприятия к действию и воспоминания к поведению. Конечно, можно представить себе, как идеальную границу, и бескорыстную память, и бескорыстное восприятие, – фактически же восприятие и память направлены к действию, и тело подготавливает это действие. Обратимся к восприятию. Растущая сложность нервной системы устанавливает связь полученного возбуждения с увеличивающимся разнообразием двигательных установок и

Краткое изложение итогов и заключение 303

тем самым одновременно намечает все более и более значительное число возможных действий. Что же касается памяти, то первая ее функция состоит в том, чтобы вызывать всю совокупность прошлых восприятий, аналогичных наличному восприятию, напоминать нам, что предшествовало и что следовало, внушая нам таким образом наиболее полезное решение. Но это не все. Заставляя нас охватить в единой интуиции множественность моментов времени, она освобождает нас от движения потока вещей, то есть от ритма необходимости. Чем больше этих моментов она сможет сократить в один момент, тем основательнее власть, которую она дает нам над материей, и оказывается, что память живого существа прежде всего указывает на силу его действия на вещи и является ее ментальным выражением. Будем же исходить из этой действенной силы как из истинного принципа: предположим, что тело – это центр действия и только центр действия, и посмотрим, какие последствия вытекают из этого для восприятия, для памяти и для взаимодействия тела и духа.

III. г- Прежде всего, о следствиях для восприятия. Вот передо мной мое тело с его "воспринимающими центрами". Эти центры приходят в возбуждение, и я получаю представление о вещах. С другой стороны, я предположил, что эти возбуждения не могут ни произвести, ни выразить моего восприятия. Следовательно, оно вне их. Но где же оно?

Я мог бы ответить, не колеблясь: полагая свое тело, я полагаю определенный образ, но тем самым полагаю также и совокупность других образов, так как нет такого материального предмета, качества которого, детерминации, существование, наконец, не зависели бы от места, занимаемого им в тотальности вселенной. Мое восприятие, таким образом, может быть только чем-то из этих самых предметов: скорее оно заключено в них, чем они в нем. Но что же именно из этих предметов может быть восприятием? Я вижу, что мое восприятие, по-видимому, следует за всеми деталями так называемых сензитивных нервных возбуждений; с другой стороны, я знаю, что роль этих возбуждений состоит единственно в том, чтобы подготовить реакции моего тела на окружающие тела, наметить мои виртуальные действия. Следовательно, воспринимать – значит выделять из совокупности предметов возможное действие моего тела на них. Тогда восприятие – это только отбор. Оно ничего не создает: его роль, напротив, состоит в том, чтобы устранить из совокупности образов все те образы, на которые я не смогу воздействовать, затем элиминировать уже из удержанных образов все то, что не затрагивает потребностей того образа, который я называю своим телом. Таково по крайней мере весьма упрощенное объяснение, схематическое описание того, что мы назвали чистым восприятием. Отметим сразу же, какое положение между реализмом и идеализмом мы заняли в результате.

Мы уступили идеализму, признав, что всякая реальность имеет родство, аналогию, наконец, соотношение с сознанием, назвав вещи "образами". Никакая философская

доктрина, впрочем, если она находится в согласии с собой, не может избежать этого заключения. Но если бы удалось суммировать все прошлые, настоящие и возможные состояния сознания всех обладающих сознанием существ, тем самым, мы думаем, оказалась бы охваченной лишь очень малая часть материальной реаль-

304 краткое изложение итогов и заключение

ности, потому что образы повсюду выходят за пределы восприятия. Это те самые образы, которые хотели бы восстановить наука и метафизика, воссоздавая в ее целостности ту цепь, несколько звеньев которой удерживает наше восприятие. Но для того, чтобы установить между восприятием и реальностью отношения части к целому, нужно было бы отвести восприятию его истинную роль, которая состоит в подготовке действий. Это то, чего не делает идеализм. Почему он, как мы только что сказали, терпит неудачу, пытаюсь перейти от порядка, который обнаруживается в восприятии, к порядку, который достигается в науке, то есть от простой случайности, с которой наши ощущения, кажется, следуют друг за другом, к детерминизму, связывающему явления природы? Именно потому, что он приписывает воспринимающему сознанию спекулятивную роль, и таким образом совершенно не видно, какой интерес сознанию, например, опускать находящиеся между одним и другим ощущением опосредования, с помощью которых второе ощущение выводится из первого. Природа этих опосредования и их строгий порядок остаются тогда невыясненными, даже если их относят к разряду "возможных ощущений", по выражению Милля, а их порядок приписывают, как это делает Кант, опорным конструкциям, установленным безличным разумом. Но предположим, что мое сознательное восприятие имеет чисто практическое назначение, что оно просто очерчивает в совокупности вещей то, что интересует мое возможное действие на них: я понимаю, что все остальное от меня ускользает, и что, однако же, это остальное одинаковой природы с тем, что я воспринимаю. «Мое познание материи тогда уже и не субъективно, как это представляется в английском идеализме, и не относительно, как это хочет представить кантов-ский идеализм. Оно не субъективно, потому что оно скорее в вещах, чем во мне, и оно не относительно, потому что между "явлением" и "вещью" существует отношение не видимости к реальности, а просто части к целому.

Этим самым мы возвращаемся к реализму. Но реализм, если в него не внести поправки в одном существенном пункте, так же неприемлем, как и идеализм, причем по той же причине. Идеализм, сказали мы, не может перейти от порядка, который обнаруживается в восприятии, к порядку, который достигается в науке, – то есть к реальности. Реализму же, наоборот, не удастся извлечь из реальности то непосредственное знание, которое мы о ней имеем. Попробуем, в самом деле, встать на точку зрения вульгарного реализма. С одной стороны, имеется множественная материя, состоящая из более или менее независимых частей и рассеянная в пространстве, с другой – дух, который не может иметь с ней никакой точки соприкосновения, по крайней мере, если не признавать его, вместе с материалистами, ее непонятным эпифеноменом. Может быть, отдать предпочтение кантовскому реализму? Между вещью в себе, то есть реальностью, и чувственным многообразием, из которого мы строим наше познание, нет никакого мыслимого отношения, никакой общей меры. Теперь, при углублении .этих двух крайних форм реализма, видно, что они сходятся в одной и той же точке: и тот, и другой превращают однородное пространство в барьер между разумом и вещами. Наивный реализм делает из этого пространства реальную среду, со взвешенными в ней вещами, кантовский реализм видит в нем

Краткое изложение итогов и заключение305

идеальную? среду, где координируется множественность ощущений, – но как для одного, так и для другого, эта среда дана изначально как необходимое условие того, что в ней содержится. Углубляя, в свою очередь, эту общую гипотезу, мы находим, что она состоит в наделении однородного пространства некой бескорыстной ролью: или служить поддержкой материальной реальности, или иметь функцию, также всецело спекулятивную, доставлять ощущениям средство взаимной координации. Таким образом, неясность реализма, так же, как и неясность идеализма, происходит от того, что они ориентируют наше сознательное восприятие и условия нашего сознательного восприятия на чистое познание, а не на действие. – Но предположим

теперь, что это однородное пространство оказывается логически не предшествующим, а последующим по отношению к материальным вещам и тому чистому познанию, которое мы можем о них иметь; предположим, что протяженность предшествует пространству; предположим, что однородное пространство появляется в связи с нашим действием и только в связи с ним, будучи чем-то вроде бесконечно разделенной сети, которую мы натягиваем под материальной непрерывностью, чтобы подчинить ее себе, чтобы разложить эту непрерывность в направлении наших действий и наших потребностей. Тогда мы выигрываем не только благодаря тому, что восстанавливаем единство с наукой, которая показывает нам, что любая вещь влияет на все остальные, занимая, следовательно, в некотором смысле, всю совокупность протяжения (хотя мы можем воспринять тчэлькоцентрэтой вещи и определили бы ее границы в точке, где прекращается способность нашего тела на нее непосредственно воздействовать). И не только благодаря тому, что в метафизике, наряду с прочим, устраняем или смягчаем противоречия, связанные с делимостью в пространстве, – противоречия, которые возникают, как мы показали, всегда, когда не различаются две точки зрения: действия и познания. Мы при этом прежде всего выигрываем благодаря тому, что разрушаем непреодолимую преграду, возведенную реализмом между протяженными вещами и нашим их восприятием. В самом деле, в то время как, с одной стороны, предполагалась множественная и разделенная внешняя реальность, а с другой – ощущения, лишенные протяженности и без какого-либо возможного с ней контакта, мы видим, что конкретная протяженность в действительности не разделена, точно так же, как непосредственное восприятие на самом деле не лишено интенсивности. Отправившись от реализма, мы возвращаемся к той же точке, куда привел нас идеализм: мы вновь помещаем восприятие в вещи. И мы видим, что реализм и идеализм вполне готовы совпасть воедино, стоит только устранить постулат, принятый ими без обсуждения, который служил им как бы общей границей.

Резюмируя, скажем, что если предположить протяженную непрерывность и, в самой этой непрерывности, центр реального действия, ограниченный нашим телом, эта деятельность будет как ш Λ вещать все те части материи, которые она в данный момент осваивав , Те же потребности, та же способность действовать, которые выделили наше тело из материи, проведут границы между различными телами в окружающей нас среде. Все будет происходить так, как если бы мы позволяли пройти через фильтр реальному действию внешних вещей, чтобы

11 Зак. № 388

306краткое изложение итогов и заключение

остановить и задержать их виртуальное действие: это виртуальное действие вещей на наше тело и нашего тела на вещи и есть наше восприятие как таковое. Но так как возбуждения, получаемые нашим телом от окружающих тел, непрерывно вызывают в его субстанции зарождающиеся реакции, и так как, таким образом, эти внутренние движения мозговой субстанции, в какой бы момент мы ее ни взяли, намечают наше возможное действие на вещи, состояние нашего мозга в точности соответствует восприятию. Это состояние – не причина, не следствие и никоим образом не дубликат восприятия: оно просто продолжает его, так как восприятие – это наше виртуальное действие, а состояние мозга – начавшееся действие.

IV. – Но эту теорию "чистого восприятия" сразу же нужно смягчить и дополнить в двух пунктах. Такое чистое восприятие, оказывающееся чем-то вроде фрагмента реальности, извлеченного из нее таким, какой он есть, могло бы принадлежать только существу, не примешивающему к восприятию иных тел восприятия собственного тела (то есть своих аффективных ощущений), а к своей интуиции актуального момента – интуиции других моментов, то есть воспоминаний. Другими словами, для удобства изучения мы сначала рассматривали живое тело как математическую точку в пространстве, а сознательное восприятие как математический момент во времени. Надо было вновь придать телу его протяженность, а восприятию – его длительность. Таким образом, мы интегрируем в сознание два его субъективных элемента: аффективность и память.

Что такое аффективное чувство? Наше восприятие, сказали мы, намечает возможное

действие нашего тела на другие тела. Но наше тело, будучи протяженным, способно воздействовать само на себя ничуть не хуже, чем на другие тела. В наше восприятие, таким образом, будет входить нечто и от нашего тела. Однако, когда речь идет об окружающих телах, они, согласно гипотезе, отличаются тем, что отделены от нашего тела более или менее значительным пространством, которое измеряет отдаленность их обещаний или угроз во времена: вот почему наше восприятие этих тел обрисовывает только возможные действия. Чем больше сокращается расстояние между этими телами и нашим телом, тем больше, напротив, возможное действие стремится превратиться в реальное, так как оно становится тем безотлагательнее, чем расстояние короче. Когда же расстояние это сведено на нет, то есть когда воспринимаемое тело – это наше собственное тело, то восприятие очерчивает уже не виртуальное, а реальное действие. Именно такова природа боли: это действительное усилие пораженной части организма вернуть все на свое место, но усилие локальное, отдельное и тем самым осужденное на неудачу в организме, способном достичь результата, только действуя целиком. Боль, таким образом, находится в той области, где она появляется, подобно тому как предмет находится в том месте, где он воспринимается. Между воспринятым аффективным чувством и воспринятым образом различие состоит в том, что аффект существует в нашем теле, а образ – вне нашего тела. Вот почему поверхность тела, общая граница нашего тела и других тел, дана нам сразу и в форме ощущений, и в форме образа.

В этом внутреннем характере аффективного чувства состоит его

Краткое изложение итогов и заключение307

субъективность, а во внешнем характере образов вообще – их объективность. Но здесь мы вновь находим ту непрерывно возрождающуюся ошибку, которую прослеживали в ходе всей нашей работы: ощущение и восприятие представляются как существующие ради самих себя, им приписывается чисто спекулятивная роль, а так как реальные и виртуальные действия, с которыми они самым тесным образом связаны и которые позволили бы их различить, остаются незамеченными, между ними находят различие только в степени. Тогда, пользуясь тем, что аффективное чувство хотя и локализовано, но локализовано неотчетливо (из-за смутного характера того усилия, которое за ним скрывается), оно тут же объявляется непротяженным, и эти редуцированные аффективные чувства, или "непротяженные" ощущения, превращаются в материал, из которого мы будто бы строим образ в пространстве» В результате этого оказывается невозможным объяснить, ни откуда появляются элементы сознания, или ощущения, которые представляются как своего рода абсолюты, ни как эти непротяженные ощущения соединяются с пространством, чтобы потом в нем упорядочиться, ни почему они приобретают скорее такой порядок, чем какой-либо другой, ни каким образом, наконец, им удается создать общий для всех людей устойчивый пространственный опыт. Нужно же как раз исходить из этого опыта, необходимой арены нашей деятельности. За первоначальное данное нужно принимать, следовательно, чистое восприятие, то есть образ. Тогда ощущения, отнюдь не будучи материалом, из которого складывается образ, окажутся чем-то вроде окрашивающей его примеси, поскольку это то, что мы проецируем на другие тела из нашего тела,

V. – Но пока мы остаемся в области ощущений и чистого восприятия, довольно трудно говорить, что мы имеем дело с духом. Конечно, вопреки теории сознания-эпифеномена мы установили, что никакое состояние мозга не эквивалентно восприятию. Конечно, селекция восприятий среди образов вообще представляет собой результат различения, в котором уже проявляется активность разума. И конечно, сама материальная вселенная, определенная как совокупность образов, – это своего рода сознание: сознание, в котором все компенсируется и нейтрализуется, сознание, в котором все возможные части уравниваются противодействиями, всегда равными действиям, и таким образом мешают друг другу обособиться. Но для того, чтобы коснуться реальности духа, надо расположиться в точке, где индивидуальное сознание, продолжая и сохраняя прошлое в настоящем, которое этим прошлым обогащается, избегает тем самым действия закона необходимости, требующего, чтобы прошлое наследовало само себя в настоящем, просто повторяющем его в иной форме, и чтобы все истекшее истекло раз и навсегда. Переходя же от чистого восприятия к памяти, мы окончательно оставляем материю и вступаем в область духа.

VI. – Теория памяти, составляющая центр нашей работы, должна была стать одновременно и теоретическим выводом, и опытным подтверждением нашей теории чистого восприятия. То, что мозговые состояния, сопровождающие восприятие, не могут быть ни его причиной, ни его дубликатом, что отношение восприятия к его физиологическому сопровождению представляет собой отношение возможного действия к

308 краткое изложение итогов и заключение

действию начавшемуся, – этого мы не можем установить на основе фактов, поскольку, согласно нашей гипотезе, все происходит таким образом, как будто восприятие является результатом состояния мозга. В самом деле, в чистом восприятии воспринимаемый объект – это актуально наличный объект: тело, модифицирующее наше тело. Его образ, следовательно, дан актуально, а потому факты позволяют нам с одинаковым правом говорить (предоставляя нам самим разбираться со своими принципами), или что мозговые модификации осуществляют набросок зарождающихся реакций нашего тела, или что они создают в сознании дубликат наличного образа. Но с памятью дело обстоит совершенно иначе, поскольку воспоминание – это представление отсутствующего объекта. Здесь два этих предположения приведут к взаимопротивоположным выводам. Если в случае наличия определенного объекта одного только состояния нашего тела было уже достаточно для того, чтобы создать представление этого объекта, то с тем большим основанием его будет достаточно в том случае, когда этот объект отсутствует. Таким образом, согласно этой теории, воспоминание должно было бы порождаться ослабленным повторением того же самого мозгового процесса, который вызвал первоначальное восприятие, и состоит оно просто в ослабленном восприятии. Отсюда следующий двойной тезис: память представляет собой лишь функцию мозга, и все различие между восприятием и воспоминанием заключается в различной интенсивности. Если же, напротив, состояние мозга вовсе не порождает нашего восприятия, а только продолжает его, то оно может также продолжить и даже завершить возникающее у нас воспоминание об этом объекте, но не способно его создать. Но так как, с другой стороны, наше восприятие наличного объекта оказывается как бы частью самого этого объекта, то наше представление отсутствующего объекта будет явлением совершенно иного порядка, чем восприятие, так как между наличием и отсутствием нет никакой промежуточной степени, никакого опосредования. Отсюда следующий двойной тезис, обратный предыдущему: память – это нечто иное, чем функция мозга, и между восприятием и воспоминанием существует различие не по степени, но по природе. – Противоположность между этими двумя теориями принимает, таким образом, резкую форму, и на этот раз опыт может их рассудить.

Мы не будем здесь возвращаться к подробностям той проверки, которую попытались провести. Напомним только ее существенные пункты. Все фактические аргументы, которые можно привести в пользу вероятного накопления воспоминаний в коре головного мозга, заимствованы из области локализованных болезней памяти. Но если бы воспоминания действительно откладывались в коре головного мозга, то забвению определенных образов соответствовали бы конкретные повреждения мозга. Однако, например, при амнезиях, когда целый период нашего прошлого существования внезапно и бесповоротно вырывается из памяти, не наблюдается отчетливо выраженных мозговых повреждений; и наоборот, при таких заболеваниях памяти, где церебральная локализация вполне отчетлива и несомненна, то есть при различного рода афазиях и болезнях зрительного или слухового узнавания, не те или другие воспоминания как бы вырываются из того места, где они располагались, а сама способность припоминания более или менее утрачивает свою жиз-

Краткое изложение итогов и заключение 309

ненную силу, как будто больному трудно привести свои воспоминания в соприкосновение с наличной ситуацией. Таким образом, следовало бы прежде всего изучить именно механизм этого контакта с наличной ситуацией, чтобы посмотреть, не состоит ли роль мозга скорее в том, чтобы обеспечить его действительность, а не в том, чтобы заключать в своих клетках сами воспоминания. Так мы оказались

подведены к исследованию эволюции того поступательного движения, которое приводит в соприкосновение настоящее и прошлое, то есть к исследованию процесса узнавания. И мы обнаружили, в самом деле, что узнавание наличного объекта может осуществляться двумя совершенно различными способами, но что ни в одном из этих двух случаев мозг не выполняет роли резервуара образов. Действительно, процесс узнавания может быть или совершенно пассивным и скорее разыгрываться, чем мыслиться, когда тело отвечает на вновь переживаемое восприятие рядом ставших автоматическими действий: в этом случае все объясняется двигательными установками, которые вырабатываются привычкой, и нарушения памяти могут быть объяснены как результат разрушения этих механизмов. Или же узнавание, наоборот, совершается активно, посредством образов-воспоминаний, которые переносятся в область восприятия; но тут эти воспоминания, в тот момент, когда они накладываются на восприятие, должны найти средство активизации тех механизмов мозга, которые обычно приводятся в действие восприятием: в противном случае, с самого начала обреченные на пассивность, они не испытывают никакой тенденции активизироваться. Вот почему во всех случаях, когда повреждение мозга затрагивает определенную категорию воспоминаний, эти воспоминания бывают сходны между собой не в том, например, что они относятся к одному и тому же периоду, или имеют между собой логическое родство, но только тем, что все они слуховые, или зрительные, или моторные. Затронутыми оказываются здесь не столько сами воспоминания, сколько различные сенсомотор-ные области, а еще чаще те соединения, которые внутри самой мозговой коры позволяют их возбуждать. Мы пошли еще дальше и посредством внимательного изучения узнавания слов и феноменов сенсорной афазии попытались доказать, что узнавание осуществляется совсем не путем механического пробуждения дремлющих в мозгу воспоминаний. Оно предполагает, наоборот, более или менее высокое напряжение сознания, которое обращается к чистой памяти в поисках чистых воспоминаний, чтобы поступательно материализовать их в контакте с наличным восприятием.

Но что такое чистая память, и что собой представляют чистые воспоминания? Отвечая на этот вопрос, мы дополнили демонстрацию нашего тезиса. Непосредственно перед этим мы доказали первый его пункт, то есть, что память – это нечто иное, чем функция мозга. Нам осталось показать посредством анализа "чистого воспоминания", что между воспоминанием и восприятием существует не простое различие в степени, но коренное различие в природе.

VII. – Сразу же отметим не только психологическое, но и метафизическое значение этой проблемы. Без сомнения, положение о том, что воспоминание представляет собой ослабленное восприятие, имеет чисто психологический смысл. Однако не следует заблуждаться: если во-

310 краткое изложение итогов и заключение

воспоминание есть не что иное, как ослабленное восприятие, то и наоборот, восприятие должно быть чем-то вроде более интенсивного воспоминания. Но здесь в зародыше содержится весь английский идеализм. Идеализм этот состоит в том, что между реальностью воспринимаемого объекта и идеальностью объекта представляемого усматривается разница только в степени¹ а не по природе. И так же точно отсюда происходит идея, что мы конструируем материю из наших внутренних состояний, и что восприятие – это всего лишь достоверная галлюцинация. Именно эту идею мы непрестанно оспаривали, когда речь шла о материи. Таким образом, или наша концепция материи ложна, или воспоминание коренным образом отличается от восприятия.

Мы перенесли, таким образом, метафизическую проблему в такую плоскость, где она совпадает с психологической проблемой* разрешаемой простым наблюдением. Каким же образом она разрешается? Если бы воспоминание какого-нибудь восприятия было бы тем же самым восприятием, только ослабленным, то мы могли бы, например, принять восприятие слабого звука за воспоминание сильного звука. Но смешение подобного рода никогда не происходит. Можно, однако, пойти дальше и доказать, опять-таки посредством наблюдения, что осознание воспоминания как такового никогда не начинается с наличия какого-то более слабого актуального состояния, которое мы пытались бы отбросить затем в прошлое в качестве воспоминания, осознав его

слабость. И кроме того, если бы у нас уже не было представления о ранее пережитом прошлом, то как мы смогли бы отсылать в прошлое менее интенсивные психологические состояния: мы просто расположили бы их в одном ряду с интенсивными состояниями, как более смутный наличный опыт рядом с более ясным наличным опытом. В действительности память – это вовсе не регрессивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движение от прошлого к настоящему. Первым делом мы помещаем себя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого "виртуального состояния"*, которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими словами, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигурирует наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание.

Отчего же свидетельством этих наблюдений сознания пренебрегают? Как получается, что из воспоминания делают ослабленное восприятие, о котором нельзя сказать, ни зачем оно отбрасывается в прошлое, ни как мы восстанавливаем его дату, ни на каком основании оно появляется вновь именно в этот момент, а не в какой-либо другой? Причина всегда в том, что забывают о практическом назначении наших актуальных психических состояний. Из восприятия делают незаинтересованную операцию ума, чистое созерцание. А так как воспоминание, очевидно, может быть только чем-то в этом же роде (поскольку оно непосредственно не соотнесено с настоящей и настоящей реальностью), то воспоминание и восприятие становятся состояниями одинаковой природы, различающимися между собой лишь по интенсивности. Но дело в том, что наше настоящее не определяется тем, что оно более интенсивно. Наше настоящее – это то, что действует на нас и застав-

Краткое изложение итогов и заключение³¹¹

ляет нас действовать, то, что сенсорно и моторно, – наше настоящее есть прежде всего состояние нашего тела. Наше прошлое же, напротив, – это то, что уже не действует, но могло бы действовать, – то, что будет действовать, вписавшись в наличное чувственное восприятие и заимствовав у него его жизненность, Правда, в тот момент, когда воспоминание, обретая таким образом активность, актуализируется, оно уже перестает быть воспоминанием и снова становится восприятием.

Теперь понятно, почему воспоминание не могло бы быть результатом церебрального состояния. Церебральное состояние продолжает воспоминание; оно позволяет ему освоить настоящее посредством той материальности, которую ему сообщает, однако чистое воспоминание – это духовное проявление. Имея дело с памятью, мы действительно находились в области духа.

VIII. – Перед нами не стояло задачи исследовать эту область. Расположившись у слияния духа с материей, желая прежде всего увидеть, как одно перетекает в другое, мы должны были выделить из всей спонтанности разума лишь точку его соединения с телесным. Таким образом нам удалось присутствовать при феномене ассоциации идей и при зарождении наиболее простых общих идей.

В чем состоит главная ошибка ассоцианизма? В том, что он располагает все воспоминания в одной плоскости, не учитывая более или менее значительную дистанцию, отделяющую их от актуального телесного состояния, то есть от действия. Он также не смог объяснить ни того, каким образом воспоминание присоединяется к вызывающему его восприятию, ни того, почему ассоциация должна совершаться именно по сходству или по смежности, а не каким-либо иным способом, ни, наконец, того, посредством какого каприза данное определенное воспоминание избирается среди тысячи других, которые могли бы с таким же успехом быть увязаны с наличным восприятием по сходству и по смежности. Другими словами, ассоцианизм перепутал и смешал вместе все срезы сознания, видя в воспоминании менее полном лишь воспоминание менее сложное, тогда как в действительности – это воспоминание, более далекое от среза, то есть более близкое к действию и тем самым более банальное, более способное быть подогнанным, подобно платью из конфекции,

применительно к новизне наличной ситуации. Впрочем, и противники ассоцианизма последовали за ним в этой области. Они упрекают его лишь в том, что он объясняет ассоциациями высшие формы духа, а не в том, что он не понял истинной природы самой ассоциации.

Между срезом действия, где наше тело сжало свое прошлое в двигательные привычки, и срезом чистой памяти, где наш дух сохраняет во всех подробностях картину нашей истекшей жизни, мы можем, как нам кажется, заметить тысячи и тысячи различных срезов сознания, тысячи повторений, воспроизводящих целиком, но всякий раз по-другому, совокупность нашего пережитого опыта. Дополнить какое-то воспоминание деталями более личного характера вовсе не значит механически присоединить к нему другие воспоминания: для этого надо перенестись в более обширный план сознания, удалиться от действия в направлении грезы. И локализация воспоминания состоит вовсе не в том, что мы

312 Краткое изложение итогов и заключение

механически вставляем его между другими воспоминаниями, а в том, что мы описываем при помощи возрастающего расширения интегральной памяти круг, достаточно широкий для того, чтобы в нем фигурировала данная деталь прошлого. Эти срезы не даны, однако, как совершенно готовые, наложенные друг на друга пласты. Они существуют скорее виртуально, способом существования, свойственным духовным образованиям. Разум, все время двигаясь вдоль интервала, разделяющего эти срезы, заново осваивает, а вернее, непрестанно заново создает их: именно в этом движении и состоит его жизнь. Мы понимаем теперь, почему сходство и смежность, а не что-либо иное, лежит в основе законов ассоциации, почему память выбирает среди сходных и смежных воспоминаний именно данные, а не какие-либо иные срезы, каким образом, наконец, комбинированная работа тела и духа создает первые общие понятия. Живое существо заинтересовано в том, чтобы уловить в наличной ситуации то, что в ней сходно с прошлой ситуацией, а затем сопоставить с наличной ситуацией то, что предшествовало, а особенно, „ледовало за этой прошлой ситуацией, с тем, чтобы извлечь выгоды из своего прошлого опыта. Таким образом, из всех ассоциаций, которые можно вообразить, ассоциации по сходству и по смежности оказываются прежде всего единственными, имеющими жизненную полезность. Но чтобы понять механизм этих ассоциаций и тот на первый взгляд капризный отбор, который они производят среди воспоминаний, необходимо поочередно занять те два крайних среза сознания, которые мы назвали срезом действия и срезом грезы. В первом фигурируют только двигательные привычки, о которых можно сказать, что это ассоциации скорее разыгрываемые, или проживаемые, чем представленные: здесь сходство и смежность сплавлены в одно целое, так как аналогичные внешние ситуации, повторяясь, в конце концов увязывают между собой движения нашего тела, и, начиная с этого момента, та же самая автоматическая реакция, в которой мы осуществляем эти взаимосвязанные движения, извлекает из вызывающей их внешней ситуации ее сходства с предыдущими ситуациями. Но по мере того, как мы переходим от движений к образам и от образов более бедных к образам более богатым, сходство и смежность разделяются: в том втором крайнем срезе сознания, где уже никакое действие не примешивается к образу, они становятся противоположными. Выбор данного сходства среди многих сходств, данной смежности среди прочих смежностей производится, следовательно, не случайным образом: он зависит от той беспрестанно меняющейся степени напряжения памяти, которая целиком приобретает тот или другой тон, смотря по тому, преобладает ли в ней склонность к включению в наличное действие, или к отвлечению от него. Это же двойное движение памяти между своими крайними пределами, как мы показали, обрисовывает контуры первых общих понятий, так как двигательная привычка восходит здесь к образам, подобным данным, чтобы извлечь это подобие, а подобные образы спускаются до уровня двигательной привычки, чтобы слиться воедино, например, при автоматическом произнесении объединяющего их слова. Зарождающаяся общность идеи состоит, таким образом, уже в определенной активности духа, в его движении между действием и представлением. Вот почему для той или другой философии, как нами было сказано, всегда будет

Краткое изложение итогов и заключение 313

легко локализовать общую идею в одном из экстремумов, заставить ее кристаллизироваться в слова или испариться в воспоминания, тогда как в действительности она состоит в движении духа, который переходит от одного экстремума к другому.

IX. – Представляя таким образом элементарную умственную деятельность, делая из нашего тела ее всем тем, что его окружает, последний, фронтальный срез нашей памяти, крайний образ, движущуюся точку, которую наше прошлое непрерывно толкает в наше будущее, мы бы подтвердили и разъяснили то, что сказали раньше о роли нашего тела, подготовив вместе с тем пути сближения тела и духа.

В самом деле, после того, как мы по очереди изучили чистое восприятие и чистую память, нам осталось только сблизить их друг с другом. Если чистое воспоминание – это уже дух, а чистое восприятие еще включает в себе нечто материальное, то исследование той точки, где чистое восприятие соединяется с чистым воспоминанием, должно бросить некоторый свет на взаимодействие между духом и материей. Вег "чистое" восприятие, то есть восприятие моментальное, – это лишь идеальный предел. Всякое восприятие занимает определенную толщину длительности, продолжает прошлое в настоящее и, тем самым, причастно памяти. И беря восприятие в его конкретной форме, как синтез чистого воспоминания и чистого восприятия, то есть духа и материи, мы, таким образом, сводим проблему связи между душой и телом к ее наиболее узким рамкам. В этом и состоит попытка, предпринятая нами, главным образом в последней части нашей работы.

Оппозиция двух принципов во всяком дуализме разлагается на тройную противоположность непротяженного и протяженного, качества и количества, свободы и необходимости. Если наша концепция роли тела, если наш анализ чистого восприятия и чистого воспоминания ставит перед собой задачу осветить в одном из аспектов корреляцию между телом и духом, то это может быть достигнуто только при условии устранения или смягчения этих трех противоположностей. Рассмотрим их по порядку, придав более метафизическую форму тем выводам, которые мы стремились получить, придерживаясь исключительно психологии.

1). Если вообразить себе, с одной стороны, протяженность, реально разделенную, например, на молекулы, а с другой стороны, сознание с ощущениями, которые сами по себе непротяженны и лишь проецируются в пространство, то очевидно, что между этой материей и этим сознанием, между телом и духом, мы не найдем ничего общего. Но такая оппозиция восприятия и материи представляет собой искусственный продукт рассудка, который расчленяет и сочленяет заново, согласно своим привычкам или законам: она не дана с непосредственной интуицией. В непосредственно данном нет непротяженных ощущений: как они смогли бы оказаться в пространстве, выбрать там какое-то место, наконец, координироваться, чтобы построить универсальный опыт? Так же точно в реальности не существует протяженности, разделенной на независимые части: как иначе, без всякой возможной связи с нашим сознанием, могло бы оно стать местом последовательности изменений, порядок и отношения которых в точности соответствуют порядку и отношениям наших представлений? Непосредственная данность, ре-

314 краткое изложение итогов и заключение

альность представляет собой нечто промежуточное между разделенной на части протяженностью и чистой непротяженностью: это то, что мы назвали экстенсивным. Экстенсивность – наиболее явное свойство восприятия. Только уплотняя и разделяя восприятие посредством абстрактного пространства, натянутого нами под ним в интересах действия, мы конструируем множественную и бесконечно делимую протяженность. И наоборот: только уменьшая плотность восприятия, заставляя его то растворяться в аффективных ощущениях, то превращаться в подобие чистых идей, мы получаем те непротяженные ощущения, из которых затем тщетно стараемся воссоздать образы. И два противоположных направления, в которых мы проводим эту двойную работу, открываются перед нами совершенно естественно, так как из самих потребностей действия вытекает, что протяженность кроится для нас на абсолютно независимые объекты (откуда установка на ее расчленение), и что

степени перехода от аффективного чувства к восприятию оказываются неуловимыми (откуда все более сильная склонность предполагать восприятие непротяженным). Но наш рассудок, роль которого как раз и состоит в том, чтобы устанавливать логические дистинкции, а как следствие, и резкие оппозиции, поочередно устремляется по этим двум направлениям и каждое из них проходит до конца. В итоге он располагает на одном краю бесконечно делимую протяженность, а на другом – абсолютно непротяженные ощущения, и сам создает ту противоположность, которую потом наблюдает.

2). Гораздо менее искусственна противоположность качества и количества, то есть сознания и движения, и эта вторая противоположность становится радикальной лишь в том случае, если мы сначала примем первую. В самом деле, предположим, что качества вещей сводятся к непротяженным ощущениям, воспринимаемым сознанием, как будто эти качества, будучи как бы символами, только представляют однородные и исчислимые изменения, совершающиеся в пространстве, – нам придется тогда вообразить между этими ощущениями и этими изменениями какое-то непостижимое соответствие. Не будем, напротив, *a priori* устанавливать между ними это искусственное противоречие, и мы увидим, как один за другим снимутся барьеры, которые, казалось, их разделяли. Прежде всего, неверно, что сознание, обращенное само на себя, присутствует при внутреннем прохождении непротяженных восприятий. Стоит же переместить чистое восприятие в сами воспринимаемые вещи, и первое препятствие таким образом устранится. Вы, правда, натолкнетесь при этом на другое препятствие: однородные и исчислимые изменения, с которыми имеет дело наука, свойственны, по-видимому, множественным и независимым элементам, таким, как атомы, для которых эти изменения оказываются не более, чем акциденциями, и эта множественность будет преградой между восприятием и его объектом. Но если деление протяженности чисто относительно и целиком зависит от наших возможных действий на нее, то идея независимых корпускул оказывается тем более условной и схематичной. К тому же сама наука тоже обосновывает ее устранение. Таким образом, рушится и второй барьер. Остается преодолеть последний интервал – между разнородностью качеств и кажущейся однородностью движений в пространстве. Но именно потому, что мы устранили те элементы,

Краткое изложение итогов и заключение³¹⁵

которые служили носителями этих движений (атомы или другие, им подобные), здесь больше не встает вопрос о движении как акциденции движущегося тела, и не идет речи об абстрактном движении, которое изучается механикой и по существу представляет собой всего лишь общую меру конкретных движений. Каким образом это абстрактное движение, превращающееся в неподвижность, стоит только нам изменить точку отсчета, могло бы стать основой реальных, то есть прочувствованных нами изменений? Каким образом, составленное из ряда моментальных положений, могло бы оно заполнить длительность, части которой непрерывны и продолжают друг друга? Остается, следовательно, только одна возможная гипотеза: конкретное движение, способное, подобно сознанию, продолжать свое прошлое в свое настоящее и, повторяясь, порождать чувственные качества, должно уже содержать в себе нечто от сознания, нечто от ощущения. Это было бы то же самое ощущение, но разреженное, распределенное на бесконечно большее число моментов, то же самое ощущение, вибрирующее, как мы выразились выше, в недрах своей оболочки-куколки. Теперь непрямым остается только один последний пункт: каким образом совершается сплав, сжатие, – конечно, уже не однородных движений в разнородные качества, но изменений менее разнородных в более разнородных? Но на этот вопрос отвечает наш анализ конкретного восприятия: это восприятие, живой синтез чистого восприятия и чистой памяти, неизбежно суммирует в своей видимой простоте бесчисленное множество моментов. Таким образом, между чувственными качествами в том виде, в каком они даны в нашем представлении, и теми же самыми качествами, трактуемыми как исчислимые изменения, существует различие только в ритме длительности, во внутреннем напряжении. При помощи идеинапряжения мы попытались, таким образом, снять противоположность между качеством и количеством, подобно тому как при помощи идеиекстенсивности – противоположность между протяженным и непротяженным. Экстенсивность и напряжение допускают множество степеней, всегда, впрочем, определенных. функция же рассудка состоит в том, чтобы высвободить их пустую оболочку, то есть однородное пространство и чистое качество, и подставить вместо гибких реальностей, допускающих степени, эти ригидные абстракции, порожденные потребностями действия, одно только принятие или признание которых ставит перед

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
рефлексирующей мыслью дилеммы, ни в одной из своих альтернатив не подтверждаемые вещами.

3). Но рассмотрев таким образом отношение протяженного к непротяженному, качества к количеству, легче уяснить себе также третью и последнюю противоположность между свободой и необходимостью. Абсолютная необходимость могла бы быть представлена в виде полной эквивалентности друг другу последовательных моментов длительности. Можно ли сказать это о длительности материальной вселенной? Можно ли любой из ее моментов математически вывести из предыдущего? Для удобства исследования мы на всем протяжении этой работы предполагали, что дело обстоит именно так. И в самом деле: различие между ритмом нашей длительности и ритмом течения вещей так велико, что случайность хода природы, глубоко изученная в одной из философий последнего времени, оказывается для нас практически равноцен-

316 краткое изложение итогов и заключение

ной необходимости. Сохраним поэтому наше допущение, которое, впрочем, еще найдем место смягчить. Даже и при сохранении этого допущения свобода не окажется в природе как бы государством в государстве. Мы сказали, что природу можно рассматривать как нейтрализованное и, следовательно, латентное сознание, случайные проявления которого гасят друг друга и сводятся на нет в тот самый момент, когда хотят обнаружиться. Таким образом, те проблески света, которые появляются в природе с возникновением индивидуального сознания, не освещают ее неожиданными лучами: индивидуальное сознание лишь устраняет препятствие, лишь извлекает из реального целого его виртуальную часть, лишь отбирает и выделяет то, что представляет для него интерес, и если уже одной этой разумной селекцией достаточно, чтобы говорить о его духовной форме, то свою материю оно, несомненно, заимствует у природы. Кроме того, присутствуя при первых проявлениях этого сознания, мы вместе с тем видим, как обрисовываются живые тела, способные даже в своей простейшей форме к самопроизвольным и непредвидимым движениям. Прогресс же живой материи приводит сначала к образованию, а потом к постепенному усложнению нервной системы, способной направлять возбуждение в определенные каналы и организовывать действия: чем более развиты высшие нервные центры, тем больше способов движения одно и то же возбуждение предлагает на выбор действию. Эту все увеличивающуюся свободу движений в пространстве мы вполне реально видим. Не доступно же нашему зрению возрастание во времени присущего сознанию напряжения. Сознание не только все лучше и лучше удерживает прошлое, благодаря памяти об уже давно прошедшем опыте, что позволяет ему организовать это прошлое в одно целое с настоящим, объединив их в более осмысленном и обновленном решении: живя более интенсивной жизнью, сжимая и уплотняя, благодаря памяти о непосредственном опыте, все возрастающее число внешних моментов в их наличной длительности, оно становится пропорционально этому все более способным совершать акты, чья внутренняя индетерминация, перед тем, как распределиться между сколь угодно большим множеством моментов материи, все легче проходит сквозь петли необходимости. Таким образом, рассматриваем ли мы свободу во времени или в пространстве, всегда оказывается, что она коренится в необходимости и органически с ней взаимосвязана. Дух заимствует у материи восприятия, которые его питают, и возвращает их ей, придав форму движения, – форму, в которой воплощена его свобода.

Примечания

Анри Бергсон

Речь Поля Валери, в то время председателя общего собрания Французской академии, произнесенная на январском собрании Академии 1941 года, посвященном памяти скончавшегося 4 января этого года Анри Бергсона. Впервые была издана типографским способом в 1945 году, хотя уже до этого, сразу после произнесения, была размножена и распространена по всей Франции в списках и копиях.

Публикуемый в настоящем издании перевод выполнен с текста, вышедшего в свет в 1945 году (первого открытого издания): P. Valéry. Henri Bergson., P., 1945.

На русском языке издается впервые.

Опыт о непосредственных данных сознания

Первое издание работы: H. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience. P., Alcan, 1889.

Впервые на русский язык работа была переведена С. И. Гессеном в 1910 г. под названием "Время и свобода воли". Перевод, осуществленный Б. С. Бычковским и вошедший в Собрание сочинений Бергсона (СПб., 1913–14, т. 2), озаглавлен "Непосредственные данные сознания (время и свобода воли)". Сверка перевода проведена по данному тексту.

Лучше понять замысел и структуру Опыта о непосредственных данных сознания помогает рассказ об этом самого Бергсона, записанный французским писателем и литературным критиком Шарлем Дю Бо после визита к Бергсону 22 февраля 1922 г. и позднее опубликованный в Дневнике Дю Бо (см. Ch. Du Bos, Journal, P., 1946): "Я спросил его, верно ли сообщение Дезаймара о том, что интуиция длительности возникла у него вскоре после лекции, на которой он излагал аргументацию элеатов? Он ответил мне: "Все происходило немного иначе. В ту пору, когда я готовился к конкурсу на замещение должности преподавателя лицея, в университете существовали как бы два лагеря: один, гораздо более многочисленный, полагал, что Кант окончательно сформулировал все проблемы, а другой склонялся к эволюционизму Спенсера. Я принадлежал ко второй группе. Сегодня я отдаю себе отчет в том, что в Спенсере меня привлекали конкретный характер его мышления, постоянное стремление вернуть дух на почву фактов. Постепенно я отверг все его взгляды, но лишь гораздо позже, в творческой эволюции, я полностью осознал совершенно ложное направление спенсеровского эволюционизма. В то время, о котором идет речь, в начале моего пребывания в Клермон-ферране, в 1883–84 гг., меня привлекли именно главы о первичных понятиях в основных началах, в частности, глава о понятии времени. Вы знаете, что эти главы не представляют большого научного значения. Научная культура Спенсера, в частности, в области механики, была не особенно высокой. Но в эти годы меня интересовали главным образом понятия науки, в основном математики и механики. Итак, я занялся непосредственно идеей времени в ее общепризнанной форме и понял, что, подходя к ней окольным путем, мы сталкивались с непреодолимыми трудностями. Я видел, что время не могло быть тем, что о нем говорили, что оно было чем-то иным, но еще не осознавал, чем именно. Это и был отправной пункт, пока еще очень смутный... Однажды, объясняя моим ученикам на доске софизмы Зенона Элейского, я начал более отчетливо различать, в каком направлении нужно было искать. И именно в этом отчасти прав Дезаймар. Наиболее существенная часть Опыта о непосредственных данных, а именно глава II и глава III о свободе, которая в первом варианте была гораздо более развернутой, написана в Клермоне с 1884 по 1886 г....

А затем я понял две вещи: в этой первой редакции я не принимал в расчет Канта, который никогда не оказывал большого влияния на мое мышление; однако нужно было – и для самого себя, и чтобы иметь малейшую надежду на прочтение, ибо это упущение могло полностью дисквалифицировать мою диссертацию в глазах тогдашнего Университета, – выполнить эти требования, и я исправил в этом плане третью главу. С другой

При подготовке настоящего издания использованы примечания к юбилейному изданию собрания сочинений А. Бергсона: Bergson Henri. Oeuvres. Ed. du centenaire. Textes annotés par A. Robinet. Introd. par H. Gouhier. Paris, Presses univ. de France, 1959.

стороны, мне казалось, что исследование понятия интенсивности составило бы соединительное звено между понятиями количества и качества, о которых шла речь в остальной части работы, а это могло бы сделать мои взгляды гораздо более ясными и доступными. Кроме того, Фехнер и психофизики, подобно Канту, были тогда в центре обсуждения, и анализ теории Фехнера давал мне шанс быть понятым и приобрести последователей. Именно это и случилось на защите, и даже превзошло мои ожидания, ибо жюри сосредоточило все свое внимание на первой главе, за которую я даже удостоился похвал, но ничего не увидело во второй. Я был взбешен, ибо только вторая глава и была для меня важна, – и под давлением момента решил представить эту главу в иной форме, пока не зная более точно, в какой, и прояснить то, что я хотел сказать. Итак, вы видите, что я исходил именно из научного понятия времени, а вовсе не из психологии. В свое время я указал на это в небольшой заметке, опубликованной в *Revue de philosophie* касавшейся статьи моего давнего ученика Ражо о моих отношениях с Уильямом Джемсом. Джемс как раз исходит из психологии: он прирожденный психолог. Его замечательная работа *Stream of Thought*, опубликованная вначале фрагментарно в виде статьи о некоторых упущениях интроспективной психологии, отчасти ведет свое происхождение из критики ассоциационистской психологии. Я же пришел к психологии, но не исходил из нее. В общем, можно сказать, что до того момента, когда я осознал длительность, я жил вне самого себя... Насколько мало я был вначале склонен к психологии, видно из того, что на защите, достав из знаменитой шляпы тему лекции: "Каково знание современной психологии?", – я напустился не только на современную психологию, но и на психологию в целом, к великому неудовольствию одного из членов жюри, который мнил себя психологом и сам задал эту тему, но к удовлетворению Равессона, бывшего председателя жюри... Мне потребовались годы, чтобы осознать, а затем признать, что не все способны с той же легкостью, как я, жить, погружаясь вновь и вновь в чистую длительность. Когда эта идея длительности осенила меня в первый раз, я был убежден, что достаточно лишь сообщить о ней, чтобы пелена спала, и полагал, что человек нуждается лишь в том, чтобы его об этом уведомили. С той поры я убедился в том, что все происходит совершенно иначе" (pp. 63–68). Работа Дезаймара, о которой идет речь в тексте: Bergson; Clermont-Ferrand, Bellet, 1910. Заметка по поводу статьи Ражо, упоминаемая Бергсоном, была опубликована в *Revue de philosophie*, август 1905, pp. 225–227; см. также H. Bergson. *Ecrits et paroles*, P., v.2, p. 238–240.

с. 51 : психофизика – один из разделов общей психологии, исследующий количественные отношения между силой раздражителя и величиной вызванного им ощущения. Создатель психофизики – немецкий физиолог Г. Т. Фехнер (вторая половина XIX в.). Включает две основные группы проблем: измерение порога ощущений, т. е. предела чувствительности сенсорной системы человека, и построение психофизических шкал. Методы, разработанные классической психофизикой, стали базой экспериментальной психологии и способствовали ее развитию. См. М. Г. Ярошевский. *История психологии*. М., 1985, с. 207–211; С. В. Кравков. *Очерк общей психофизиологии органов чувств*. М.–Л., 1946; Т. Рибо. *Современная германская психология (опытная школа)*. СПб., 1895; E. G. Boring. *A History of Experimental Psychology*. N.–Y., 1950.

с. 55: эстетические чувства...: Анализ этих чувств занимает большое место в работах представителей ассоциативной психологии, в чем сказались влияние немецкой философии: см. А. Бэн. *Эмоции и воля*, гл. XIV, *Ощущения и интеллект*, гл. X (А. Бэн. *Психология*, т. I–II. М., 1902–1906); Г. Спенсер. *Основания психологии*, М., 1898, т. II, королларий IX.

с. 56: Спенсер, Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, один из основоположников позитивизма. Странник направления ассоциативной психологии, или ассоциационизма. В книге *Основания психологии* изложил концепцию эволюционистской психологии. О фации см. также: Г. Спенсер. *Слезы, смех и грациозность*. СПб., 1898.

с. 56: состояние гипноза...: Бергсон рано занялся исследованием гипнотических состояний (см. "*Revue philosophique*", nov. 1886, pp. 526–531; см. также *Ecrits*

Бергсон Анри Материя и память filosoff.org
et paroles, v. I, pp. 68–75).

с. 58: моральные чувства...: Исследованы, к примеру, в книге: А. Бэн. Эмоция и воля.

с. 58: ...кш: иногда утверждают...: См. А. Шопенгауэр. Об основе морали. Поли. собр. соч. М., 1901–1910, т. 4, 1910; Мир как воля и представление, кн. IV, §67. Там же, т. 2, 1901.

с. 58: ...Ларошфуко...: См, Ф. де Ларошфуко. Максимы, 264. "Мемуары и максимы". Л., 1971. (пер. Э Липецкой).

Примечания 319

с. 59: ...подобно ветрам в пещере Эола...: Эол – в древнегреческой мифологии бог ветров.

с. 59: ...Бэн...: Бэн, Александр (1818–1903) – английский философ, психолог и педагог, основатель журнала *Mind* (1876). Один из ведущих представителей ассоциативной психологии XIX в. Высказал идею о "пробах и ошибках" как принципе организации поведения. Основные работы: Ощущения и интеллект (1855) и Эмоции и воля (1859). Бергсон цитирует Ои/уи/ления и интеллект, I, III, §1.

с. 59: ...Вундт...: Вундт, Вильгельм (1832–1920) – немецкий психолог, физиолог, философ и языковед. Поставив задачу преобразования традиционной интроспективной психологии с помощью экспериментальной психологии, стал одним из основоположников экспериментальных методов. Разделяя точку зрения психофизического параллелизма, считал, что в сфере сознания действует особая психическая причинность; сознание представлял как совокупность разрозненных элементов, "атомов". См.: В. Вундт. Введение в психологию. М., 1912; Основания физиологической психологии. М., 1880.

с. 60: ...Джемс...: Джемс, Уильям (Джеймс) (1842–1910) – американский философ и психолог, один из основателей прагматизма. Создал концепцию "потока сознания", противопоставленную принципам экспериментальной психологии; понимал личность как духовную целостность, несводимую к совокупности элементов. Подчеркивая взаимосвязь психического и телесного, связывал сознание с телесным действием как инструментом приспособления к среде. В работе Что такое эмоция (1884) впервые в связанном виде сформулировал теорию эмоций и высказал идею о том, что эмоция представляет собой осознание органических изменений, их результат, а не причину.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!